

Сергей Ельченинов



Марьевка

Главы из книги

Предисловие

Удивительны и неповторимы человеческие судьбы и характеры. Есть среди них обычные, незаметные, а есть особенные, запоминающиеся. Но рано или поздно для всех наступает свой час, когда каждый из нас отправляется в дальний путь по неизведанным и бесконечным дорогам Вечности. С этого момента мы продолжаем жить только в воспоминаниях своих родных и близких, да тех, с кем волею Небес связывала нас судьба в нашем земном бытии. Проходит ещё какое-то время, и большинство из нас навсегда исчезает из памяти потомков. И вот уже никто и не знает, что тогда-то и там-то жил некий человек, каким он был, как сложилась его жизнь, какой след он в ней оставил. Обидно? Наверное. Но так уж устроен наш мир.

Я родился, вырос и живу в деревне. А это особая среда со своими устоями, обычаями, традициями и, самое главное, со своими характерами, как правило, яркими, неповторимыми.

В деревне все друг у друга на виду и все друг о друге всё знают. И отношения в деревне не такие, как в городе, а более близ-

Сергей Ельченинов. Марьевка

кие, более искренние. Я бы назвал их семейственными. Да-да! Именно так. Несмотря на то, что в старых и особенно небольших деревнях почти все друг другу родственники, назвать их семейными всё же нельзя.

Впрочем не это важно. Люди, характеры, судьбы — вот о чём хочется рассказать.

Марьевка (Челищево тож)

Деревня наша теперь небольшая. Как и сотни других убогих деревушек Святой Матушки-Руси, затерялась она на её необъятных просторах и живёт своей размеренной жизнью, пока хранима Богом и любима людьми.

Название своё Марьевка (Челищево тож) получила по имени барыни, некогда владевшей ею, — тайной советницы Марьи Михайловны Челищевой, урождённой княжны Хованской. Муж её, Николай Александрович Челищев, член Государственного Совета, действительный тайный советник, был участником многих знаменитых сражений Отечественной войны 1812 года. За заслуги перед Отечеством, героизм и храбрость, проявленные в битвах под Аустерлицем и Фридландом, Николай Александрович в 1819 году получает «в вечное потомственное владение» земли в Заволжских степях Оренбургской губернии. Будучи человеком, крайне занятым на государственной службе, он переписывает эти земли на свою жену Марью Михайловну и отправляет её обустроить новые поместья. В период с 1826 по 1832 годы Марья Михайловна переводит в Заволжье более ста семей крепостных крестьян из сельца Силино и деревни Любимки Ефремовского уезда Тульской губернии, и из села Шарово Севского уезда Орловской губернии и основывает сельцо Марьянка (Челищево тож), деревни Николаевка (Луганское тож) и Московка (Михайловка тож). Вот так в 1826 году и появилась наша Марьевка.

Здесь никогда не было своей церкви, а значит, не было и статуса села, поэтому название Челищево затерялось где-то в закоулках времени, а Марьевка — осталось. И была она приходской деревней Никольской церкви села Страхово.

Расположена Марьевка на живописной северо-восточной окраине Самарской губернии. Стоит она на опушке смешанного леса, ближе к Бузулуку переходящего в сосновый бор. С трёх других сторон раскинулись вокруг деревни бескрайние степи с редкими деревцами, холмами и оврагами. Сама же Марьевка

вытянулась в одну улицу, бегущую от леса в степь вдоль большого красивого озера, поросшего по берегам ивами, вербой, ольхой, а на мелководье — камышом и осокой.

Истари повелось так, что деревня условно делится на три части: первая от леса часть называется Поим — это и есть начало Марьевки, потом идёт Серёдка, а третья часть — Конец.

Ещё с полвека тому назад многолюдная и многодетная, будто полноводная весенняя река, сегодня деревня больше похожа на пересыхающее русло этой некогда широкой реки, по дну которой хотя всё ещё и бежит бодрый и резвый ручей, поддерживаемый редкими родничками, но всё меньше остаётся надежды на то, что когда-то это русло вновь наполнится живительной влагой и река снова спокойно и величаво покатит свои чистые воды к безбрежному житейскому морю.

Коренных жителей в Марьевке теперь можно перечесть по пальцам, да и пришлых-то, честно говоря, тоже немного. И тех, и других едва ли наберётся чуть больше трёх десятков, а остальные все — дачники.

Неспроста, видимо, власти и статус деревне присвоили какой-то чуждый, неестественный — «посёлок». Наверное, чтобы проще было со временем сделать приписку «дачный». «Дачный посёлок» — вот тут и кончится наша Марьевка, а если сказать точнее, то скончается.

Режет слух это вроде бы русское слово «посёлок», когда употребляют его по отношению к населённому пункту с двухвековой историей.

Вот, к примеру, слышит русский человек слово «село», и ему сразу становится понятно, что люди здесь осели, обосновались на века. А если ещё и учесть, что до революции этот статус предполагал необходимое условие — наличие церкви, то и вовсе отпадают все сомнения. Раз храм построили, то уж никуда с этого места не уйдут, да и детям, и внукам заповедуют.

Или услышит он слово «деревня», и тут же повеет чем-то деревянным, древесным. Воображение нарисует могучее дерево с мощными корнями, уходящими глубоко в землю. Так же и деревня крепко стояла на земле, бережно опираясь на свои корни — вековую мудрость отцов и дедов.

И совсем иную картину рисует нам слово «посёлок»: что-то непонятное, зыбкое, непостоянное. Вроде как сели не осели, посидели — дальше пошли. Ни традиций тебе, ни обычаев, ни истории, да и людей-то за ним не видно — так, какая-то серая

безликая масса без рода, без племени — вроде как Иваны, не помнящие родства. Вот поэтому и не люблю я этого слова.

Деревня наша Марьевка — самая настоящая русская деревня со своим укладом, со своими традициями, со своими корнями и своей историей. И чтобы не утратила она своё лицо, не подгнили её корни, я и хочу немного рассказать о ней.

Я не ставил себе задачу нарисовать полноценные портреты, показать целостные характеры. Это будут небольшие зарисовки односельчан. Мне хочется просто рассказать об отдельных эпизодах из жизни деревни и её жителей, рассказать о некоторых традициях и обычаях, о местных легендах и преданиях Марьевки. Зачем?.. А чтобы помнили!!!

Бабака

Моя бабушка (а по-нашему, по-деревенски, бабака) жила в Пойме. Её старая, ветхая избушка, крытая соломой, стояла на самом краю деревни — с неё-то и начиналась Марьевка.

Звали мою бабаку Серафимой Остаповной Ельчениновой. В церковной метрической книге она была записана как Серафима Евстафиевна, ибо её отец был Евстафий, но народный язык упростил его имя до Остапа, да так, что все его дети в советских документах были записаны как Остаповичи.

Её девичья фамилия была Земских, а по-уличному по имени отца — Остапова. У неё были кубанские и украинские казацкие корни, оттого она и была крупной статной женщиной.

Всё моё детство прошло у бабаки в её избушке. У моих родителей был дом-пятистенник¹ с пристроенными боковушкой, верандой и сенями, а бабака жила в обычной русской избе, к которой примыкали сени, сарай и дровник.

Слева от входа стояла русская печь, занимавшая четвертую часть комнаты. За ней в одну линию через небольшой проход стояла печь с плитой, которую у нас называют голландкой, хотя это и не совсем правильное название. Голландка отделяла от комнаты небольшую кухню в одно окно, которую бабака почему-то называла чуланом. Со стороны комнаты возле голландки стоял бабакин сундук со всеми её пожитками. Иногда, особенно зимой, она стелила на него фуфайку или старое стёганое одеяло, клала подушку, а я разваливался на этой постели рядом с тёплой голландкой и слушал её многочисленные занимательные истории и сказки.

¹ Дом-пятистенник — то же, что дом-пятистенек.

Справа от входа, почти вплотную спинкой к дверному косяку, стояла убранная по-старинному кровать с белыми подузорниками¹ и белыми же кружевными накидушками на подушках. Вдоль правой стены рядом с кроватью стоял старинный шифоньер с резным фасадом, в котором бабака хранила зимнюю верхнюю одежду, а за ним — древний диван с откидными подлокотниками и высокой спинкой. Слева от дивана было окно. Из этого окна виден широкий луг, а за ним почти весь лес: Мосаков, Ближний, Вырубрь, Мокрый овраг, краешек Кругленького и макушки Перелесок, Орешника и Осинника. Левее окна была божница — красный угол с иконами.

У противоположной входу стены в простенке между двумя окошками, глядящими на улицу, стоял стол, покрытый белой скатертью с вышитыми на ней цветами. Вот и всё небогатое убранство бабакиной избы. Но как же там было хорошо и уютно!

Большую и лучшую часть своего детства я провёл у бабаки. Мой отец работал электромонтёром на буровых установках. Работа его была вахтовая. Вместе со своей буровой они постоянно кочевали по области. Мама моя была ветврачом и бригадиром. А кто такой ветврач на селе, да ещё и бригадир в придачу? Это тот, кто едва ли не живёт на ферме: уходит из дома затемно и возвращается так же. А как иначе? Рано утром едут доярки на дойку — мама с ними; раздают скотники фураж или выгоняют скот — и она там же. И вечером всё то же самое. А ещё: то прививки, то уколы, то скот взвешивать, то с отчётом ехать, то мясо на мясокомбинат везти, то лошадь заболела, то корова обьелась, то бык отравился — и везде без мамы не обойдутся. А кроме того, и другие проблемы есть: то скотник загулял, то доярка почему-то не вышла. И если не найдётся того, кто их заменит, то мама переодевается, садится верхом на лошадь и едет пасти или начинает доить брошенных коров. Мало того, и односельчане со всеми бедами к маме бегут: то свинья не ест, то корова никак не растелится, то овца ногу сломала, то поросят, телят или ягнят кастрировать надо, то справку на рынок выписать... В общем, мои родители постоянно пропадали на работе, а я в это время был у бабаки.

К приходу родителей бабака вела меня домой, и, пока она была у нас, я успевал проверить целостность моих незатейливых и немногочисленных игрушек, обследовать все тайники и

¹ Подузорник — подзорник, подзор. Кружевная кайма, оборка, спускающаяся под покрывалом и скрывающаяся низ кровати.

секретные места, где хранил свои сокровища: старый перочинный ножик отца, выдавший виды компас, толстое увеличительное стекло с отбитыми краями, круглую жестяную банку из-под леденцов «Монпансье» и сломанный карманный фонарик — всё то, что было мне необходимо для кругосветного путешествия, о котором я узнал из какого-то фильма. Совершив обход своих владений, я начинал скучать и вспоминать о бабакиных сказках, и мне уже не хотелось оставаться дома. Я тут же просился ночевать к бабаке. Родители ворчали, но чаще всего отпускали меня.

Летом мы с бабакой ходили в лес за травами, за малиной, за земляникой, за грибами и за хворостом. У бабаки была тележка, сделанная из старой детской коляски. Бабака сажала меня в эту тележку, и мы отправлялись в лес. Там мы набирали полную тележку хвороста, сухих сучьев и палок, а потом вдвоём везли эту поклажу домой. Это сейчас я понимаю, что бабаке приходилось везти не только дрова, а вместе с ними и меня, а тогда мне казалось, что это я ей помогаю и без моей помощи она никак бы не справилась.

Прямо за бабакиным двором был большой луг, расстилающийся до Мосакова. Иногда по уграм мы с бабакой ходили за грибами, а потом она жарила их с яйцами и луком или с картошкой, и мы завтракали вдвоём. Ох и вкуснотища же была!

А ещё я до сих пор помню вкус её оладьев и блинцов так у нас в Марьевке называют тонкие блинчики на молоке, испечённые в русской печке. Но самым вкусным блюдом, которое готовила бабака, её «фирменным» блюдом, был сухарник. Такого я больше не пробовал нигде и никогда.

Пенсия у бабаки была маленькая: всего двенадцать рублей. Поэтому ей приходилось экономить. Газа в Марьевке не было. Впрочем его нет и сейчас. Но тогда не было даже баллонного газа, и бабака готовила в русской печке или на плите голландки, а летом — на электрической плитке или во дворе на таганке.

Основным пунктом её экономии было электричество. Поэтому летом она свет почти не включала. Старая привычка, ведь бабака была тысяча девятисотого года рождения, а в старину в деревнях огонь в домах зажигали только после Ильина дня.

Я любил ночевать у бабаки. Летом, когда за окнами густели сумерки, она укладывала меня в постель, а сама садилась у окна и рассказывала мне сказки или истории давно ушедших лет, рассказывала о Марьевке, о своём детстве и молодости.

А если я спрашивал, почему мы сидим без света, она всегда отвечала так:

— А на кой огонь-то вздуть? Чай, и так дышать-то не тёмно? Вот прокатится Илья-пророк по небу на своей огненной колеснице, полыхнёт небесным огнём, тогда и мы огонь в избах вздуть зачнём, а покуда не положено.

И я терпеливо ждал Илью-пророка, только просил бабаку сказать мне, когда он поедет по небу: очень уж мне хотелось на него посмотреть. А пока лежал и слушал бабакины сказки и истории.

Рассказывала она долго, неторопливо. Спокойно и убаюкивающе лилась её речь, но я крепился и не засыпал: мне всегда хотелось дослушать до конца. А бабака будто и не мне всё это говорила, а словно заново переживала моменты своей жизни.

Как я ни крепился, сон всё же начинал одолевать меня. И тогда бабака благословляла меня и вставала на молитву. Как и сколько она молилась, я теперь не помню, но первую молитву, которой начиналось её правило, я уже в четыре года выучил наизусть. Это была молитва Святому Духу — «Царю Небесный».

К слову сказать, бабака была неграмотная и молитвы читала по памяти, поэтому и читались они у неё на свой, деревенский, лад: «Царю Небесному», «Живые помощи», «Отчи наши» и всё в этом духе. Но, только став взрослым и будучи священником, я теперь понимаю это, а тогда я считал, что так и надо.

А ещё были вечера, когда я вставал на молитву рядом с бабакой, а потом довольный собой шёл спать. Она же, окончив молиться, крестила окна, стены, дверь, кровать и меня, а потом ложилась сама. И было в этом священнодействии что-то величественное и таинственное. А я в это время чувствовал себя сопричастным этому торжественному обряду.

Но долгими зимними вечерами бабака всё же «вздывала огонь» и садилась под окошко прясть, а я пристраивался за столом напротив и смотрел, как крутится похожее на штурвал парусного корабля колесо пряжи, а из-под бабакиных пальцев рождается шерстяная нить и быстро убегает в трубку рожков, но потом выныривает из неё через специальное отверстие на распределительные гвоздики и аккуратно наматывается на большую шпульку, которая зовётся скалкой. К слову сказать, пряхой у нас зовётся как тот, кто прядёт, так и само приспособление, на котором прядут.

Под это верчение колеса-штурвала, равномерную трескотню рожков и стук скалки журчала бабакина речь, повествуя мне о Царевне-лягушке и Кошее Бессмертном, о сестрице Алёнушке и её братце Иванушке, о гусях-лебедях, об Иване-царевиче и Василисе Премудрой, об аленьком цветочке, о Сивке-Бурке и о многих других героях русских сказок, былин и преданий.

Лет в семнадцать бабака переболела золотухой, которая, по её словам, «прорвалась ей в уши», и оглохла. Бабака не была совсем глухой, но слышала плоховато. Несмотря на это, она при разговоре не кричала, как это делают многие тугие на ухо люди. Речь её была спокойной, ровной и неторопливой, причём бабака непостижимым для меня образом чувствовала наличие при разговоре посторонних шумов и в зависимости от этого говорила громче или тише.

Иногда вместо пряжи бабака брала в руки вязание. Спицы весело прыгали в её ловких натруженных руках, подбирая под себя шерстяную нитку и рождая новую вещь, готовую верой и правдой служить людям, отдавая им своё тепло, заложенное в неё любящим добрым сердцем и умелыми заботливыми руками бабаки. И снова были сказки, поучительные истории и вековые предания Марьевки.

Закончив кудель или довязав носок или варежку, бабака откладывала работу. Помолвившись и перекрестив дверь, все окна и стены, она «тушила огонь», и мы ложились спать. Вся изба погружалась во тьму, и только маленький огонёк лампадки, теплящейся в переднем углу, слабо освещал божницу со стоящими на ней иконами.

Бабака засыпала быстро или делала вид, что засыпает, чтобы я не одолевал её своими бесконечными вопросами. Тогда я вынужден был отстать от неё, но тут же находил себе новое занятие: я слушал песни печной заслонки под аккомпанемент разгулявшейся в ночи вьюги. Потом мысли мои начинали путаться, и я, убаюканный вьюгой и тихим ровным дыханием бабаки, тоже засыпал. За окнами мело и мело, а мне было тепло и уютно рядом с моей бабакой. И снились мне добрые сказочные сны.

А утром, когда я просыпался, бабака уже хлопотала на кухне. В печи громко потрескивали дрова, а по ним весело плясали языки пламени, отражаясь в оконных стёклах. Вся изба наполнялась ароматом топящейся русской печки. Когда дрова прогорали, бабака раздвигала кочергой угли, равномерно распределяя их по всему поду и, ловко орудуя длинным сковородником, в две

сковороды начинала печь вкуснющие-превкуснющие блинцы. Быстро росла их стопка. По избе теперь плыл другой аромат — запах свежее испечённых русских блинчиков.

«Тут и ленивый не мог устоять». Я спрыгивал с высокой бабакиной кровати, по-солдатски быстро одевался и бежал к ручной мойке. Там, прополоскав рот и наспех побрызгав себе на лицо, утирался бабакиным рушником, и к тому моменту, когда бабака ставила на стол высокую стопку блинцов и сметану, я уже сидел за столом. Бабака, посажав в печку хлеба, пироги, курник, лапшевник или сухарник, тоже садилась за стол, и мы с ней завтракали блинцами со сметаной, а потом пили травяной чай с вареньем или какими-нибудь её плюшками-ватрушками. Так начинался мой день у бабаки Симы.

Бабака была очень доброй и часто улыбалась, хотя судьба её с детства не баловала. Будучи поздним ребёнком у родителей, последней из пятерых детей, она не была избалована и с раннего детства познала все тяготы деревенской жизни. Когда родилась бабака, то её племяннице от старшей сестры было уже четыре года. А в десять лет бабака сама доила корову, месила кизяки, работала и в огороде, и в избе. В общем, была за хозяйку, потому что её мать, Евфимия, заболела и слегла, а две старших сестры, Мария и Ульяна, вышли замуж.

Потом была революция, а за ней гражданская война и голодный двадцать первый год, в который умер отец бабаки, дед Евстафий. Не только голод, но и болезнь косила людей. От голода люди ходили по полям и собирали прошлогодние полупрелые колоски с зерном, которые толкли, и из такой «муки» пекли хлеб. От этого-то хлеба и умирали. Говорили, что умирают от ангины, но это была эпидемия дифтерии. А может быть, травилась спорыньей. Да какая разница?! Эта же картина повторилась и в военные годы, когда люди от голода так же были вынуждены выживать любыми способами и так же умирали, как и в двадцать первом году. Но бабаку Бог миловал — она с большим трудом, но всё же пережила эти годы.

Замуж она вышла поздно — в тридцать четыре года: никто не хотел брать глухую, хоть и красивую девушку. Родила она четверых детей: трёх сыновей (мой отец был старшим) и дочь. Но самый младший ребёнок, сын Коленька, умер от голода.

Когда началась война, моего деда Фёдора не должны были забирать, ведь он тоже был глуховат по той же самой причине, что и бабака. Но председатель сельсовета (не буду называть его

фамилию: Бог ему судья) сжульничал и списал своего племянника, а моего деда отправил на фронт как здорового. В феврале 1942 года дед погиб, не успев провоевать и года. В сорок два года бабака стала солдатской вдовой и замуж больше никогда не выходила.

В войну всем нелегко было, а некоторым — просто невыносимо. В их числе была и бабака. Голодом и холодом прошла война по тылу. Как и в двадцать первом году, умирали люди от голода. И семью бабаки едва не скосила общая беда. Тяжело было ей одной с четырьмя детьми управляться, а деваться некуда. Часто приходилось им всем и засыпать, и просыпаться голодными.

— Маленькие они были. Им ведь не объяснишь, что не из чего поесть-то приготовить, — рассказывала мне бабака. — Плачут они, есть просят, в глаза тебе с укором заглядывают. А у тебя сердце-то, того гляди, разорвётся али из груди выпрыгнет. Жалко их, а помочь-то горю нечем. Выйду, бывало, в сени, сама наплачусь вдоволь да опять к ним. Ляжем спать — обниму их всех, да так со слезами-то и уснём. И наутро — это же. Летом-то хушь трава какая есть. Наварю пустой похлёбки с травой — и тому рады. А зима придёт — хушь караул кричи. Вперёд-то хушь коровой спасались, так она и сама еле ноги волочила — какое уж тут молоко. С голоду мы так отощали все, что в гроб краше кладут. Меня и не узнать было — кожа да кости. Иду по улице, а меня ветром качает. Ребятишки и вовсе как лучинки стали. А я только родила. Грудью кормить надо, а молоку-то с чего взяться? Коленька, младшенький, не вынес — помер от голода. Месяц ему только-то и было.

Бабака вздохнула, помолчала немного, смахнула слезу.

— Бабка Уляшка, сестра-то моя, в Лугань в богатую семью замуж-то вышла. Как пришла война, моего-то мужика, твоего деда Фёдора, сразу забрали, а её Василия-то не взяли: больной, что ли он был, да бронь, вишь, какая-то на него была наложена. И жили они богато. Так-то тоже, какое уж там больно большое богатство?! А всё-таки хлебушек-то на столе каждый день был, а по воскресеньям да по праздникам — и щи с мясом. Да в войну и дети-то у ней уж большие были: Шурка да Нюрка сами уж замужем, а Манька с Колькой тоже подросли. Вот Уляшка-то и не дала нам в войну с голоду умереть. Упокой, Господи, её душу!

Бабака с благодарностью перекрестилась, снова смахнула слезу и продолжила:

— Стала она то и дело моих ребятишек к себе брать. Васька, отец-то твой, больше всех там жил. Опять же, как брала она? Деваться некуда: охота была помочь нам. Сестра родная всё-таки. Возьмёт она кого, день-два подержит и домой. Василию, мужику-то её, знать, не больно это нравилось, но и он терпел. То я сама к ним приду. Накормит меня сестра да с собой тайком от мужика да от свекрови в узелок чего положит. Положит да наказ даст: ты, мол, Серафимка, сама-то тоже ешь, не всё ребятишкам отдавай. А то, мол, помрёшь, так они и вовсе сиротами останутся, а так, конечно, не досыта, зато живые все будете. Я приду домой, узелок-то разверну: а там и хлебушка немного, и мучки с отрубями, а то и кусок жирка какого. Понемногу, а всё ж не умрёшь с голоду. А я лебеды натру, крапивы добавлю, мукой с отрубями присыплю, да отец твой яиц сорочьих али вороньих из гнёзд вынет штук пять, я и их туда, да замешу лепёшек каких. Так мы с неделю и протянем. А то сама Уляшка из Лугани придёт — тут уж поболее всего принесёт. Загодя схоронит от свекрови да от Василия, а потом тайно мне передаст. Как вторая мать она мне была. Царствия ей Небесного! Так-то вот мы и жили.

После войны было время, когда деревенских жителей облагали продовольственным налогом. Есть корова — сдай в государство молоко, сметану, масло; имеешь овец — отдай шерсть и мясо; держишь кур — носи яйца.

А собирал эти налоги по нашей округе настоящий мытарь — злой и жестокий сборщик Ермолай, которого все ненавидели и боялись. Если кто-то не платил в срок, он приходил к тому в дом и в счёт уплаты налога забирал всё, что попадало под руку: вилы, грабли, лопаты, пряжи, швейные машинки (у кого они были). Не брезговал он и новой одеждой, а особенно валенками (даже детскими). Но мог он сделать и ещё хуже: забрать кур, овец, даже увести со двора корову. Его не смущало, что в семье дети мала меньше, не трогали его ни просьбы, ни людские слёзы.

У бабаки хозяйство было небольшое: коровка-кормилица, пять кур, петух, трое ребятишек да сама четвёртая. А денег во все и в заводе не бывало, ведь работала она в колхозе «за палочки» — за трудодни.

В один из особенно трудных годов не смогла бабака заплатить налоги, и пришёл к ней Ермолай.

Ни объяснения, ни уговоры, ни просьбы — ничего не желает слушать. Твердит одно:

— Подавай сюда корову!

Бабака ему говорит:

— Как же отдам-то? У меня ведь трое малых ребят — их кормить надо. А мужик, сам знаешь, на войне пропал.

— Не моё дело! Подавай, говорят тебе по-хорошему, и всё тут. Некогда мне с тобой балясы разводить!

— Воля твоя, — говорит бабака. — А корову не отдам!

— Ну, так я сам заберу.

И полез было в сарай, да бабака была не робкого десятка — схватила лежавший возле печки рогац да за Ермошкой в сени, а там и угостила его как следует, да так, что долго потом у него спина, бока да темечко болели.

— Ну, стерва! В Сибири сгною! — зашипел Ермошка.

Бабака понимала, что эти слова не на ветер были брошены, тем более что он, как ни крути, а всё же при исполнении своих обязанностей был. Пришлось ей на хитрость пойти: разорвала она на себе рубашку, да и стала кричать:

— Караул! Помогите!

Опешил Ермошка. Догадался, чем дело запахло. Ведь за ним давно закрепилась слава бабника. Да и ни для кого не секретом было то, что многих вдовушек он от налогов укрывал особым способом. В прежние годы и к бабаке с тем же подкатывал.

— Ты, — говорил, — глухая. Да трое ребятишек. Кто тебя такую возьмёт? А без мужика-то, чай, не сахар?

Да всегда от ворот поворот получал.

— Моего мужика война забрала, а такого, как ты, и даром не надо. Мой-то Фёдор и на лицо красавец был, и богатырь, каких поискать: чуть не в коломенску версту ростом да в плечах сажень косая, а ты-то — ледащий. Моему Феде ты в пупок дышал бы, да сам страшный и весь ровно из лугошек¹ собран. Таких-то в базарный день за пяточок большой пучок дают, — смеялась ему в лицо бабака.

— Ты, Серафимка, доболтаешься когда-нибудь — язычок-то подрежут, — злился он.

— А ты иди — попробуй! Пальцы-то враз откушу, — не сдавалась бабака.

Вот и затаил он на неё злобу. Думал теперь отыграться, да не по его дело вышло. Кричит бабака да из сеней на улицу рвётся. Он схватил её за руку больно-пребольно.

¹ Лутошка — молодая липа лет 5-10. Срубы изб и домов делали из крепких толстых брёвен, а лугошки шли только для обдирки лыка на лапти. Собран из лугошек — так говорили про что-то тонкое, хрупкое, ненадёжное.

— Стой! — говорит. — Ты чего? Ошалела?

А бабака в ответ:

— Давай-давай! Ещё и синяки будут — так-то вернее.

Тут и соседки бегут с криками: что, мол, случилось?

Не на шутку струсил Ермошка.

— Забудем, — говорит. — Будь человеком!

А бабака ему отвечает:

— А ты был человеком, когда тебя со слезами просили? Вот теперь незнамо, кто кого в Сибири-то сгноит.

Бабака всё же не стала никаких ложных заявлений писать, но деревня есть деревня, и к вечеру все знали, что погладила Серафима Ермошку ухватом по загривку.

— Синяки-то, ладно, прошли, — шутила много лет спустя бабака. — А вот рубаху жалко, ведь не старая ещё была.

А Ермолаю ещё и от жены дома на орехи досталось. Слышно было, ободрала она его — долго на люди не показывался.

Не сгноил Ермолай бабаку в Сибири — не заявил он в милицию, но и рогача-ухвата её тоже не забыл. По скором времени указал он бабаку в списке злостных неплательщиков, и её вызвали в сельсовет на суд.

Времена были тяжёлые, и само слово «суд» уже нагоняло на людей страх. Но бабака и тут не растерялась. Рано утром в день суда пришла она с детьми к сельсовету и привязала их к коновязи в позах распятого Христа.

Стал народ собираться. Начальство пришло, из района представители приехали.

— А это что ещё такое? — нахмурил брови секретарь райисполкома.

— Ты чего это такое, Серафима, делаешь-то? — засуетился председатель сельсовета.

— Да вот ещё вам арестантов привела. Я — солдатская вдова. Мой муж — их отец, погиб на фронте, за нашу страну свою буйну голову сложил. А вы судить меня собираетесь за то, что его дети есть хотят? Меня засудите — им идти некуда, а корову заберёте — всё одно — голодная смерть. Куда ни кинь — всюду клин. Солдатскую вдову судите?! Так и детей погибшего солдата судите: они есть просят, им я ваш налог дочиста уплатила. Съели они его. Вот и их забирайте!

Зашумел, загудел народ — там уже почти вся деревня собралась. Кто пришёл поддержать вдову с тремя детьми, кто по привычке, как на сельский сход явился, кому интересно было,

чем дело закончится, но все в одном сходились: бабу, которая одна из всей деревни не побоялась — мирскому ненавистнику нос утёрла, за всех, им обиженных, отомстила, нельзя одну бросать. Нет у неё заступника — так всем миром заступиться надо.

Как пчелиный рой, загудел народ.

— Что вы раньше времени глотки-то дерёте? — неуверенно начал председатель сельсовета. — Ничего ещё не случилось.

— Отвязывай, Серафима, ребяташек. Не дадим тебя в обиду, — стиснув кулаки, выступили вперёд несколько мужиков.

— Не для того наши мужики кровь свою проливали, чтобы их вдов и детей за ведро яиц судили! — кричали, подперев бока руками, такие же, как и бабака, солдаты.

То ли смекнул секретарь райисполкома, что не показательный товарищеский суд, а народный бунт назревает, то ли понимал, что действительно из-за пустяшного дела весь сыр-бор разгорается, то ли внутренне соглашался с тем, что несправедливо судить мать, накормившую своих детей, тем более вдову погибшего советского солдата, только он вдруг сменил свой официальный вид и тон и, залихватски заломив фуражку, уже по-простому спросил, улыбаясь:

— А что, добрая, видно, баба Серафима Остаповна, коли вы вот так, всем миром, на её защиту встали?

— Добрая! Хорошая! — понеслось из толпы.

— А колхозница какая? — спросил он.

— Работящая! Честная! — отвечал народ.

— Трудолюбивая и ответственная работница, — выступил из-за спины секретаря председатель колхоза.

— Да вот наше ходатайство, — и подал секретарю какую-то бумагу.

— Что это? — спросил секретарь.

— Характеристика на Серафиму Остаповну с указанием её труднейшей и наше ходатайство за ценную работницу, — ответил председатель.

Толпа понемногу успокаивалась, хотя всё ещё недоверчиво глядела на секретаря.

— Да, хороший человек и неплохая работница. Вон труднейшей-то сколько, — сказал секретарь, пробежав глазами бумаги.

— Ну, что? Берёте Серафиму Остаповну на поруки? Поможете ей? — продолжил он.

— Берём! Поможем! — закричал народ.

— А как же недоимки? — начал было из-за спины секретаря Ермолай.

Но весь народ так злобно посмотрел на него, что Ермолай, лютый Ермолай, не побоявшийся бы в другой раз выступить «за правду» против пяти и даже десяти человек, в этот раз испугался и замолчал. Он хорошо знал, что если мир что-то решил, то горе всякому, кто встанет между ними. Одно дело, когда народ недоволен поврозь, а совсем другое, когда в согласии, сообща. Недовольных поврозь — поврозь и приструнить можно, а недовольство по согласию самого так приструнит, что насилию ноги унесёшь, коли вообще жив будешь.

— Так как же мы поступим с Серафимой Остаповной? — сделал вид, что не услышал Ермолая, спросил секретарь.

— Отпустить! Простить! — закричали все разом.

Словно этого слова «простить» и ждал секретарь. Перед народом снова стоял представитель власти, но уже не чужой и далёкий, а свой, почти доморощенный.

— Товарищи! — воодушевленно начал он. — Одним из важнейших принципов построения нашего советского государства является принцип народовластия. И сегодня мы видим ещё один пример, подтверждающий этот принцип. Серафиму Остаповну, учитывая её положительную характеристику, ходатайство колхоза и ваши просьбы, мы с вами прощаем. Но этот случай исключительный. Мы не должны забывать, что Родина переживает сейчас трудные времена. Мы победили в жестокой и кровопролитной войне, и у нас почти каждая вторая семья — это семья погибшего солдата. Но нам нужно поднимать на ноги целую страну, поэтому мы просто обязаны помочь Родине. Продналог — это трудная, но необходимая ноша. Это временные трудности — потерпите! Недалёк тот день, когда этот налог будет отменён. Но сегодня мы с вами должны быть сознательными гражданами нашего государства и потерпеть. Сколько? Я и сам не знаю, но потерпеть просто необходимо. Это ради нашего же блага и блага наших детей. Так будем же настоящими патриотами своей страны, чтобы смерти тех, кто не вернулся с войны, не были напрасными.

Эта речь потонула в овациях.

Так бабака избежала наказания и осталась дома с детьми и коровой, а Ермолай остался с носом и битыми боками.

Когда я пошёл в школу, то больше не мог проводить столько времени в заветной бабакиной избушке. Но и бабака к тому

времени совсем состарилась и тоже не могла всё время жить у себя. Ей стало тяжело готовить дрова, прочищать тропинку среди сугробов, топить печь. И с наступлением холодов она переезжала зимовать к нам. Она жила в пристроенной к дому третьей комнате, в которую был отдельный вход из сеней, и которую мы стали называть «маленькой избёнкой».

В ней было так же тепло и уютно, как и в настоящей бабакиной избушке. Слева от входа была голландка, за ней на стене была вешалка для одежды, под которой стоял бабакин сундук. Впрочем в иные годы его ставили в терраске, то есть на веранде. До сих пор не могу понять: почему я не проявлял особого интереса к сундуку, когда он стоял в бабакиной избушке, кроме того, что зимой любил поваляться на нём, но он становился предметом моих особых вожеланий, когда вместе с бабакой переезжал к нам.

В переднем левом углу стояла полуторная железная койка с панцирной сеткой, покрытая синим байковым одеялом. Прямо напротив входа по центру стены было большое окно, выходящее во двор, а под окном стоял старинный деревянный стол с тумбочкой.

В переднем правом углу была деревянная резная тумбочка, на которой стоял чёрно-белый телевизор «Рекорд», а в том же углу под потолком был иконостас, убранный белыми занавесками с выбитыми на них узорами. Там находилась Казанская икона Божией Матери — мамино венчальное благословение.

По правой стене через небольшой промежуток от тумбочки с телевизором стояла ещё одна железная койка с панцирной сеткой, но только поменьше первой. Это была бабакина кровать. А ближе к выходу в левом углу был буфет. Вот в этой избёнке с нехитрым убранством и жила зимой бабака. И опять мы были с ней вместе.

А весной, когда становилось тепло и уже не нужно было топить печи, бабака возвращалась в свою избушку на краю деревни. Как только начинались летние каникулы, я сразу присоединялся к ней, и наша сказочная жизнь продолжалась. Бабака часто шутила по этому поводу:

— Мы с тобой, как перелётные птицы, на зиму в тёплые края улетаем, а в лето домой возвращаемся.

Чем старше и слабее становилась бабака, тем больше ветшала её избушка. И однажды с приходом весны и тёплых дней бабака не вернулась в неё, а осталась у нас и на лето. Но каждый

день мы с бабакой ходили «проведывать нашу старушку», хотя от нашего дома до неё было больше километра.

Зайдём, бывало, внутрь, помолимся, посидим немного у окна, а потом бабака шла «позьмо посмотреть», то есть осматривать свой участок, и в первую очередь — огород. Я-то знал, что она туда уходит поплакать. В избе она сдерживалась, чтобы меня не расстраивать, а в огород меня не брала — думала, я не узнаю, что она там плачет. А я-то видел её покрасневшие, мокрые от слёз глаза, но ничего ей не говорил. Когда она уходила на позьмо, я шёл на скамейку под окнами и тоже иногда плакал, но, чтобы не расстраивать ещё больше бабаку, я загодя вытирал слёзы, срывал стрелку лука, росшего в огуречнике, и делал из неё свистульку, чтобы бабака думала про мои слёзы, если заметит, что они от лука. Действовало безотказно.

— И охота тебе из-за пустяшной свистульки слёзы проливать?! — всегда сокрушённо и жалостливо удивлялась бабака.

А я, страшно довольный, что хитрость удалась, сделав серьёзное лицо, всегда строго отвечал подслушанной где-то фразой:

— Мужчина должен терпеть неудобства.

Бабака улыбалась и обнимала меня, а потом мы шли домой. Встречавшиеся по пути люди часто спрашивали:

— Ну, что, тётъ Сим, на обход ходили?

— Не на обход, а проведывать! Своя же изба, не чужая!

И мы шли дальше.

А потом, когда я перешёл в четвёртый класс и стал на целую неделю уезжать в школу в совхоз «Неприк», бабака купила себе дом в посёлке Тимашево рядом со своей дочерью, моей тёткой — тётёй Зиной, и переехала туда насовсем, а я стал приезжать к ней только на каникулы. А ещё через четыре года бабака умерла. Тогда же и закончилось моё доброе детство.

Всего четырнадцать лет я был знаком и дружил со своей бабушкой, всего четырнадцать лет мы любили друг друга, но это были самые счастливые годы моей жизни.

Дунёка

По паспорту она была Евдокией Леонтьевной, сама она представлялась как Авдотья Левонтевна, но мы её звали попросту — тётъ Дуня, а большинство и только за глаза — Дунёка. И фамилий у неё тоже было много: по документам — Перелыгина, по первому мужу — Громоздылёва, девичья — Лапшина, а по второму — Поваляева.

Это была крупная, статная женщина, внешне очень сильно напоминая актрису Гликерию Богданову-Чеснокову, особенно в роли старушки-веселушки из известного фильма-сказки.

Тётъ Дуня была колоритной, очень яркой и сильной во всех отношениях женщиной. Про таких говорят, что это человек со стержнем. Она была тысяча девятьсот одиннадцатого года рождения.

И про неё иногда говорили:

— Баба старых квасов.

Я знал её с раннего детства. Она была верующим человеком и даже когда-то пела в церковном хоре. А в Марьевке она считалась главной среди «певчих» старушек.

В основном их приглашали «петь по покойнику», то есть молиться у гроба или на поминках. Но они во главе с тётъ Дуней на Рождество собирались у кого-нибудь в доме, на Крещение шли на озеро к заранее подготовленной проруби — «иордани», а на Пасху и Радоницу собирались на кладбище и ходили от одной могилки к другой, чтобы у каждой пропеть пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

Если летом случалась засуха, то тётъ Дуня собирала своих «певчих», они брали в руки иконы и ходили по полям вокруг Марьевки, пели и читали молитвы. Глядь, а на другой день и дождик пошёл.

Моя бабака тоже ходила с ними и меня брала с собой. Мне очень нравилось их стройное и слаженное пение, поэтому я рано выучил молитвы, особенно заупокойные.

Когда умер наш сосед дядя Ваня Гуров, мне было года три-четыре. Его сноха тётя Таня Гурова вспоминала:

— В тот день, когда хоронили свёкра, с утра пришли бабушки петь по покойнику. Гроб стоял в передней избе, а я с другими женщинами готовила поминальный обед в задней избе. Старушки во главе с Дунёкой читали и пели у гроба заупокойные молитвы. Вдруг мы услышали, как вместе с голосами старух зазвучал тоненький детский голосок. Мы все удивились: кто бы это там пел? Я пошла в переднюю и увидела, что в уголке возле голландки стоит Сергей Васильевич (так я всем представлялся в детстве) и поёт вместе с бабушками. И молитвы-то все наизусть знает. И это в его-то возрасте.

Я настолько привык к тому, что если бабушки собираются вместе, то обязательно будут молиться, что не мог представить себе иного повода для их встреч.

У бабаки была племянница от старшего брата — Перелыгина Вера Тимофеевна, которая была крёстной матерью моего

отца. Поэтому в нашей семье все, кроме бабаки, называли её: «крёсна Верка». Однажды у неё был день рождения. Она пригласила гостей. В основном это были всё те же самые старушки, которые ходили по покойникам. Бабака взяла и меня с собой. Мне шёл четвёртый год. Когда мы пришли к крёсне Верке, я увидел накрытый стол и, видимо, решил, что будут поминки. Но, вопреки всем моим ожиданиям, бабушки не стали так долго петь и молиться, как это бывало обычно на поминках, а стали сразу садиться за столы. Я в недоумении посмотрел на бабаку и спросил:

— А когда молиться будем?

— Вот сейчас все соберутся и будем, — ответила мне Дунёка.

Старушки заулыбались. Когда все гости были в сборе, мы встали на молитву. Но в этот раз почему-то моление оказалось слишком коротким. Я ничего не понял и снова вопросительно посмотрел на бабаку. Она попыталась объяснить мне, что мы собрались не на поминки, а на день рождения. Когда до меня наконец-то дошло, что молиться они больше не собираются, я ударился в рёв. Чтобы успокоить меня, старушки были вынуждены снова встать на молитву. И только после получасового их пения я позволил им начать торжество.

Наша соседка Кураиха потом часто со смехом вспоминала:

— Это ж надо подумать! Заставил нас всех встать на коленки и петь молитвы. Целых полчаса продержал нас — у меня аж все ноги затекли. Вот так Сергей Васильевич!

В народе Дунёку иногда называли попом, но никаким попом она конечно же не была, а вот я им стал, во многом благодаря и тёте Дуне.

Когда Дунёка и другие бабушки из певчих состарились и не могли часто бывать в храме, то в церковные праздники старушки-певчие собирались у кого-нибудь в доме и там молились, пели церковные песнопения, а потом трапезничали и пили чай. Бывали они и у нас. Я очень любил такие посиделки-молебствования. Пели они долго, слаженно и очень красиво, а после трапезы начиналось самое интересное: они «вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»...

И тогда перед моими глазами вставала Марьевка во всей своей древней красе, вставала будто подсмотренная через какое тайное окно времени, со всеми своими радостями и невзгодами, со всеми праздниками и буднями. В эти минуты я и учился видеть её, понимать и любить, любить...

Дунёка родилась в простой крестьянской семье, но было в ней скрытое величие, что-то барское, что ли, особая, почти дворянская стать.

Говорила она ровно, немного свысока, иногда строго. Взгляд её карих глаз, напоминавших треугольники, был быстрым и острым. Иногда казалось, что она смотрит не на человека, а внутрь его, проникая в самое сердце — будто в самую душу заглядывала она...

Дунёка была очень трудолюбивым человеком. Старики рассказывали, что во время сенокоса, пока иные хозяева только ещё отбивали косы, у неё уже стояли аккуратные стога. Иногда люди задавались вопросом:

— А устаёт ли она хоть когда-нибудь?

И в поле, и дома всё так и горит у Дунёки в руках. Соберутся бабы в лес по грибы или по ягоды — и тут она первая. Наберёт быстрее всех — и без сору, и больше, и всё самое лучшее. Злятся бабы, завидуют, да кто ж им виноват? А по деревне до сих пор об этом присловье ходит: если кому-то пеняют, что нескоро работа делается, то часто слышат в ответ:

— Не умею я, как Дунёка, двумя руками грибы-ягоды собирать!

Как-то пошли мы с ней в лес за липовым цветом, а идти до липняка надо было километров пять. Мне в ту пору было лет семнадцать, а ей уже за восемьдесят перевалило. Ходила она своеобразно: сцепляла руки за спиной на пояснице, немного наклонялась вперёд — и пошла, и пошла... Да так пошла, что я едва поспевал за ней. День стоял жаркий, душный, на небе ни облачка.

В общем, километра через два я не выдержал и, запыхавшись, взмолился:

— Тётъ Дунь, а тётъ Дунь!

— Чего ещё? — не сбавляя ходу, через плечо бросила она.

— Стой! Давай отдохнём маленько, — жалобно попросил я.

— Батюшки мои! — всплеснула она руками. — А иль не стыдно тебе?! Чего удумал! Отдохнём! Я, мол, чай не надорвались ещё. Тебе годов-то сколько? Я на девятом десятке не устала, а он — отдыхать! — отчитала она меня и, покачиваясь из стороны в сторону, побежала дальше.

Я думаю, что излишним будет упоминание о том, что, пока я набирал половину своего пакета, Дунёка набрала целый мешок, а потом ещё и мне помогла.

Когда Дунёка была помоложе, она всегда на ночную пасхальную службу ездила в Кинель-Черкассы.

Моя мама встречала её на пути в церковь и просила:

— Тётъ Дунь, возьми, пожалуйста, крашенные яички — освяти в храме.

Наутро, когда мы ещё спали, она уж стучала в окошко, христосовалась и отдавала маме освящённый кулич и яички.

У Дунёки было две дочери — Вера и Антонина, ради которых она прожила всю свою жизнь.

Как-то зашёл я к ней, а изба заперта «на цепку». Это значит — хозяйка недалеко, в огороде, скорее всего. Пошёл я на огород. А огород соток в тридцать-сорок, по всей длине поровну разделён узкой тропкой и абсолютно симметричен: какая культура растёт по одну сторону тропки, такая же и точно на такой же площади культура растёт и по другую сторону. На всём огороде ни травинки, ни сорнячка — чистота идеальная. Дунёку я нашёл в тенёчке под вишнями. Она сидела на маленькой скамеечке и нюхала табак. Поздоровавшись, я поинтересовался:

— И кто же тебе помогает всё это обрабатывать?

— А чё-ит мне помогать-то? Я, чай, покуда сама не инвалид. (На ту пору ей было за девяносто). Выйду, повожусь-повожусь маленько да сяду отдыхать в холодок, понюхаю... и опять за дело. В самый жар схожу — пообедаю, а то и поваляюсь маленько, а к вечеру, по холодку, опять сюда. Так и управляюсь, — отвечала мне она.

— А зачем ты так интересно всё насажала и огород пополам поделила? — продолжал я расспрашивать.

— Да как же? — недоумевала она. — Двадцать соток — Тоньке, а другие двадцать соток — Верке. А чтоб им не обидно было, то и сажаю всё одинаковое и поровну.

И это в девяносто с лишним лет!

Года в девяносто два ей удалили катаракту на глазах. Однажды, проходя мимо её избушки, я зашёл к ней. Она сидела во дворе и вязала носки. Поздоровавшись, я сказал:

— Тётъ Дунь! Да тебе же нельзя вязать-то!

— Эт чё-ит нельзя? — возразила она.

— Так глаза же оперировали.

— Эх! Вспомнил! Уж пятый месяц пошёл, а врачи три месяца ничего делать не велели. Я уж и так думала: за эти три-то месяца с ума сойду. Сядь и сиди, как пенёк. Тошно эт всё мне!

— Так ведь годов-то тебе сколько — пора бы и отдохнуть. Чай, заработала своё?! — сказал я.

Она посмотрела на меня с недоумением, а потом улыбнулась и серьёзно так сказала:

— Эх! Да что эт за года-то? Так, только звук один пустой. Девяносто! Ну и что, что девяносто? Где они, эти девяносто? Пролетели, как миг один, и рассыпались пылью. Я, как вчера, помню себя девчонкой с куклами, а ныне уж девяносто...

И, помолчав немного, с грустинкой продолжила:

— Да, если б только у меня видели глаза, я б ещё на ток походила: и тоску бы развеяла, и денюжат заработала, и курочкам зерна бы натаскала.

И, подмигнув мне, хитро заулыбалась, а потом махнула рукой:

— Эх! Да чего уж там говорить-то! Давай лучше «Христос Воскрес» попоём!

Она была ярким человеком, и жизнь её тоже была яркая, трудная, но яркая. И смерть к себе она позвала такую же. Да-да! Именно позвала. Не сама смерть пришла за ней, а Дунёка в девяносто четыре года решила, что достаточно пожила на этом свете и пора собираться в дорогу.

Незадолго до смерти Дунёка почти перестала есть и вставать с постели. Я к тому времени уже был священником. Она пожелала причаститься и велела дочерям пригласить меня.

Когда я зашёл в её комнату, она лежала на широкой постели с высоко взбитыми подушками и была так величественна и торжественна, что у меня промелькнула мысль:

«Только балдахина не хватает. Ни дать, ни взять — умирающая Императрица. Вот-вот назовёт наследника престола».

Мы помолились, а потом она начала исповедоваться. Я не могу раскрыть содержание исповеди, но какая это была исповедь! Скажу честно, что за много лет моего священства я такую полную исповедь, такое глубокое и искреннее покаяние встречал всего три раза. И исповедь рабы Божией Евдокии была одной из них. После причащения она откинулась на подушки, и лицо её сделалось светлым и счастливым. Я поздравил её с принятием Святых Христовых Таин. Она довольно улыбнулась и поблагодарила меня. Потом мы минут сорок просто разговаривали, вспоминая общие темы и события.

Вдруг она посмотрела на меня серьёзным, долгим и пристальным взглядом и сказала:

— Отпевать-то меня ты приезжай! Я уж девкам-то приказывала, чтоб только тебя звали. Да, вот ещё что: я ведь надумала здесь, на Коптяжевском погосте лечь. В Марьевке-то у меня по-

честь никого не осталось, а тут девчонки. Тут им сподручнее будет приходиться ко мне почаще, а туда ведь им не наездиться. Да и сами-то уж не молодые.

— Что ты такое говоришь, тётъ Дунь?! — запротестовал я. — Мы ещё на твоём столетии погуляем.

— Нет! — резко оборвала она. — На этом свете мы с тобой больше не свидимся. Прощай! Прости меня, коли в чём виновата перед тобой да запомнила.

Обескураженный такой твёрдой её уверенностью, я пробормотал:

— Бог простит, а ты меня прости!

— И тебя Бог простит. Прощай!

— Прощай, тётъ Дунь!

И слёзы сами собой набежали на мои глаза. Она заметила это.

— Ну, чего придумал? Слёзы лить! Чай до двести лет никто не живёт, — строго, но ласково ответила она. — Тебе пора идти, — прибавила тётя Дуня. — Благослови меня и иди с Богом. Устала я, да и ты устал. Прощай!

И я ушел...

Пять дней спустя её сводили в баню. А наутро она и говорит:

— Тонька! Звони Верке. Зови её скорей сюда.

— Зачем? — спрашивает дочь.

— Говорят — звони, значит — звони! Помирать я буду! — строго приказывает мать.

Когда обе дочери собрались возле её постели, Дунёка стала с ними прощаться:

— Ну, девчонки! Простите меня, и я вас за всё прощаю. Обиды на вас не держу. Хорошие вы у меня. Себя берегите!

И она стала давать последние наставления и советы, а потом и говорит:

— Ну, Верка, зажигай свечку и давай мне в руку. А ты, Тонька, начинай читать отходную.

Взяла в руку свечку, перекрестилась и стала слушать «Канон на исход души» — отходную.

Чем дольше читали канон, тем тише и реже становилось её дыхание. А когда дети дочитали канон до конца, их матери с ними уже не было. И только свеча, крепко зажата в руке покойницы, печально догорала. Не как со злейшим врагом, а обнявшись и о чём-то мирно разговаривая, как две близкие подруги, пошла Дунёка со Смертью в дальний неизведанный путь, который зовётся Вечностью.

Серёня и Сивач

Эх, русская водка, скольких добрых людей ты сгубила! А всё тебе мало. А и хитра же ты, каналья! Малой каплей попадаешь ты на язык безумому парню или совсем зелёной девчонке да кружишь голову, да на геройства зовёшь, да язык развязываешь, можешь и целый мир к ногам бросить. Эликсиром удачи притворяешься. А про похмелье, про головную боль, про тряску в руках, про разрушение личности, про судьбы загубленные, про семьи разрушенные, про тюрьмы, тобою наполняемые, ты до поры до времени ни гу-гу. Помалкиваешь, пока полной власти над человеком не возьмёшь. А тогда уж и нет никакого снада с тобой, проклятая.

Семья Кузнецова Василия была большая. Господь наградил его одарёнными детьми. Сергей был художником, талантливым художником. Все думали, что далёко пойдёт. Он и пошёл, да не по той дорожке. Начал понемногу за воротник закладывать, а потом и вовсе через доньшко рюмки стал на небо смотреть. Семью потерял, работу, будущее. Зелёный змий всё шипит и шипит на ухо, всё больше и больше своего требует. Тут дорожка Серёньки и вовсе кривой стала. Начал документы подделывать, фальшивую денгу ковать, да и загремел под фанфары куда следует. После тюрьмы мотался туда-сюда по жизни: то работал, то в запой уходил. И всё мечтал, что ещё напишет свой шедевр, добьётся признания. Пока мечтал, старость пришла. Вышел на пенсию — всё то же самое: денги получит — тут же пропёт, а потом те же шатания. И только с кистью и красками не расставался. Все инструменты художника всегда в порядке держал. В хорошем расположении духа напишет картину и подарит кому-нибудь или продаст за гроши.

А душу имел добрую, камня за пазухой не носил. И всё-то у него с улыбочкой, с юмором, с шутками-прибаутками.

Детей сильно любил. Я тогда маленький был, даже в школу ещё не ходил. Сидим, бывало, мы с бабакой на крыльчке — гусят пасём, а Серёнька по улице идёт. Никогда мимо не проходил.

Подойдёт, бывало, и скажет:

— Здорово, тётъ Сим! Дай Бог тебе здоровья!

Бабака всегда ему отвечала:

— Спаси тебя Бог! И тебе дай Бог здоровья! Когда же ты, плут, пить-то бросишь? Ведь хороший парень, а пропадаешь ни за что.

— Ладно, тётъ Сим, не ругайся. Вот вчера пенсию получил. Как всё пропью, так сразу брошу, — ответит он и так и зальётся весёлым хохотом.

А потом всегда подойдёт ко мне и протянет руку:

— Здорово живёшь, Сергей Васильевич! А я ведь тоже Сергей Васильевич. Мы с тобой тёзки тёзковичи.

Снова зальётся звонким хохотом, пожмёт мне руку, достанет из кармана конфетку, даст мне и дальше пойдёт.

Вся деревня сразу узнавала, что Серёня пенсию получил. Последние дни перед очередной пенсией он ходил трезвый, но хмурый. А потом вдруг возьмёт гармонь, сядет на завалинке и давай играть да песни петь. А играл и пел он хорошо.

— Ну, Серёня душу отводит. Значит, пенсию получил, — говорили люди.

Весёлый был человек, добрый. Сам был оптимист и других своим весельем и оптимизмом заряжал. А когда умер он, то как-то грустно и скучно без него стало.

Был у Серёни брат Александр. Тоже человек одарённый. С детства его Господь умом наградил. Грамотный был, любознательный, начитанный. Ещё в юности редкую книгу в марьевской библиотеке не прочитал. Вырос он, отслужил в армии, на геолога выучился, устроился на работу — всё у него неплохо складывалось. Жену из хорошей семьи взял. Она родила ему двух сыновей. Все его уважали, начальство на работе ценило. Потом повышение по службе получил — стал начальником геологической разведки. В Марьевку к родителям на чёрной «Волге» с личным водителем приезжал. Александр Васильевич Кузнецов — это имя было известно далеко за пределами Марьевки. Он решал многие серьёзные вопросы. Однако в родной деревне не зазнавался, перед стариками шапку снимал. Если к нему обращались с просьбой, то он всегда старался помочь, не отказывая никому.

А ведь у нас на Руси как повелось? Все важные и значимые вопросы через застолье решаются. Чем серьёзнее вопрос, тем дороже коньяк и богаче закуска. К сожалению!..

Так постепенно, незаметно Александр Васильевич пристрастился к спиртному. Оно затягивало его всё сильнее и сильнее. Начались проблемы и сбои на работе. Руководство пыталось урезонить его, помочь ему освободиться от зависимости: его высоко ценили как специалиста и человека. Но он уже не мог остановиться. В итоге он потерял работу. Потерял и семью: жена подала на развод и, забрав детей, ушла от него.

Он ещё мог бы всё вернуть — стоило только взять себя в руки. Но охота пуще неволи. Он не справился с собой, со своим пристрастием. Вместо этого он после таких сильнейших ударов

судьбы ушёл в глубокий затяжной запой. Настолько затяжной, что он не смог выйти из него до самой смерти. Запой длиною в жизнь. На фоне хронического алкоголизма и сильнейшего стресса после потери работы и ухода жены у него произошло расстройство психики, и он повредился в уме. Так Александр Васильевич Кузнецов превратился в Шурку Кузнецова. А поскольку у него были светлые соломенного цвета кудри, то Зубаков, а за ним и вся деревня стали звать его Сивачом, Сиварём или просто Сивым. Так и стал бывший начальник геологической разведки деревенским дурачком Сивачом.

Помешательство его было тихое. Он не буйствовал, не безобразничал, а просто ушёл в себя да там и замкнулся.

Он не мог долго сидеть на одном месте — его всё время куда-то тянуло. Посидит с полчаса, а потом собирается и идёт вдоль деревни. Дойдёт до конца улицы, разворачивается и шагает на другой конец. Со стороны казалось, что он просто вышел на прогулку. По дороге он что-то бормотал, словно разговаривал сам с собой. Если кому-то удавалось случайно подслушать его, то они слышали в этом бормотании имя Шуры — его жены, имена его сыновей, а иногда Сивач говорил что-то Господу, словно молился. И у Бога, и у жены, и у детей он как будто просил прощения. Так и ходил он целыми днями из Пойма в Конец и обратно.

Он получал пенсию по инвалидности и, подобно брату Серёньке, тут же пропивал её, а потом ходил по дворам и работал на людей за рюмку водки и кусок хлеба.

Если кто-то кормил его или делал для него что-то доброе, Сивач всегда отвечал:

— Бог спасёт! Бог спасёт!

Умер он тихо, незаметно, так же, как и прожил свою жизнь.

К нему прибилась такой же горемыка Юрий Титов. Последние несколько лет они жили вдвоём в доме покойной Кураихи, куда пустила их моя мама. Она подкармливала их, собрала для них постель, одежду. Жалко их было, вот и помогала, как могла. Да и некоторые другие сердобольные женщины помогали им.

Когда умирал Сивач, они были вдвоём с Титовым.

Позже Титов рассказывал, как умер Сивый:

— Легли мы спать. Слышу, что Шурка на своей кровати всё ворочается и ворочается. Потом встал, включил свет, попил воды, своё пальто на пол постелил и подушку бросил, — говорил Титов. — Я спросил, что, мол, он делает. А он говорит, что душно на кровати.

— К земле ближе хочется, — сказал он.

— Ну, хочется, так хочется, — пожимал плечами Титов.

А потом продолжал со слезами на глазах:

— Я свет выключил, а он вдруг сказал: «Бог спасёт! Бог спасёт!» Я-то подумал, что поблазнило ему, и уснул. Ночью проснулся, и что-то роботно стало мне. Включил свет. Гляжу — Шурка не дышит. Подошёл к нему, толкнул, а он уж холодный.

Хоронили мы его всем миром. Потом жена из Нижневартовска прислала денег на помин души. Вот так ушёл в иные миры Сивач. А мне почему-то хочется верить, что Бог его всё же спасёт. Царствия ему Небесного!

Зайцевы

Жили Зайцевы в Конце, через дом от Лапшиных и наискосок от Косенковых. Дядя Ваня и тётя Маруся были хорошими и интересными людьми. Мои родители дружили с ними семьями.

Дядю Ваню иногда называли Иваном Димитричем, а жену — Марьей Петровной, но за глаза её чаще всего называли Пекарихой. А всё потому, что дед Пётр, её отец, когда-то работал пекарем. Вот и прозвали дочь Пекарихой.

У моих родителей было много друзей, но Зайцевы были самыми колоритными из них.

Почти все праздники папа и мама проводили в одной компании с Зайцевыми, хотя туда входили и другие семьи. Компания собиралась за большим столом то у одних, то у других, то у третьих. В таких случаях в деревне обычно столы накрывают в задней избе, а в передней — только по особо значимым поводам: юбилей, запой¹, свадьба, поминки. Вот соберётся компания, женщины примутся трапезу накрывать, а мужики только стол раздвинут да лавки или стулья вокруг расставят, а потом курить уходят. А кто не курит, те просто рядом с курильщиками постоят. Стоят на улице мужики, болтают о своих мужских делах, пока бабы не кликнут всех к столу. За стол садятся обычно парами, покушают, выпьют, а потом беседуют или на картах в «дурака» играют, а чаще всего песни поют.

Когда гости были у нас, то я уходил в маленькую избёнку к бабаке или шёл в переднюю и смотрел там кино «по видуку», или читал какую-нибудь книгу. Но когда дело доходило до песен, то я откладывал все занятия и, приоткрыв дверь в заднюю, слушал песни, запоминал их, а иногда и подпевал взрослым. Сегодня я

¹ Запой — совместное застолье родственников оброчившейся пары.

знаю очень много народных и застольных песен, и большую их часть я выучил тогда, в детстве.

Иногда бывало, что перепьют мужики лишнего, да и начинают шуметь, к жёнам придираются. В таком случае жёны уводят их домой. А если же заартачатся мужики, не захотят уходить, то жёны могут и без них уйти. Но тётя Маруся одна не уходила. Хитрила она всегда, чтобы можно было увести дядю Ваню домой, да чтобы и дома-то скандала не было, а скорее бы уснул он. Для таких случаев у неё в кармане всегда был запасён димедрол.

Подойдёт она к дяде Ване, обнимет его ласково и спросит участливо:

— Ну, что, Ванюшка? Болит головушка?

— Да, — сокрушённо ответит он. — Болит.

— А ты на-ко вот, выпей таблеточку, — проворкует она. — Тебе и полегчает.

Скажет так, да и подаст ему таблетку димедрола да стакан воды.

— Не пей! Дурак! Димедрол это! — закричит ему мой отец или кто-то из других мужиков.

Но дядя Ваня посмотрит на них... да и выпьет. А потом скажет ещё:

— Нет! Марусенька так не сделает.

Пройдёт минут двадцать или тридцать, и он сам запросится домой.

— Марусенька! Дорогая! Пойдём скорее домой, а то что-то спать мне захотелось, — пробормочет он заплетающимся языком.

Скажет он так и начинает одеваться, а тётя Маруся помогает ему, а сама то по макушке ему шлёпнет, то подзатыльник даст.

— Эх, Ванюшка ты мой! Мой, да бестолковый! Вот зачем ты пил? Зачем? — приговаривает она.

Оденет она своего Ивана Димитрича, да и поведёт домой. А следом за ними и все расходятся. Вот и закончилась гулянка.

Иные, может быть, и осудят её, скажут, что отравить могла Мария Петровна своего мужа. Но этого не случилось.

Крепкий он был, здоровый и могучий, как богатырь былинный: высокий, в плечах сажень косая, кулачищи — как молоты кузнечные, сам весь сбитый такой, ладный. Но характер у него добрый был, покладистый — как у телёнка. А ещё руки у него золотые были. Любую работу по дереву играючи делал, но качественно, по совести. И нет, наверное, в Марьевке ни одного дома, где бы Иван Димитрич не приложил свою руку. Из дере-

ва он умел делать всё: и сруб поставить, и рамы оконные связать, и наличники да ставни резные вырезать, и двери входные, и двери межкомнатные филёнчатые смастерить, и узоры на дом вырезать, и многое другое. А ещё славился он как мастер по изготовлению сундуков, столов, лавок, шкафов и прочей мебели. И посуда деревянная ему легко давалась: бочки, кадушки, ведра, ковши и прочее. Из ивовой лозы корзины разнообразные плёл да кошёлки для сена. А захочет, то и сани или телегу запросто смастерит. За многим к нему люди обращались — всё, что в хозяйстве нужно, то и сделает. А случится кому успокоиться от этой суеты житейской да к Господу на ответ отправиться, то и тут без Ивана Димитрича редко обходилось. Многие в его гробах да под его крестами лежат. Вот таким мастером был Иван Димитрич.

А сколько шуток-прибауток да всяких приговорочек, да присловий знал он, так и высказать нельзя. Редко кто мог с ним потягаться. И всё у него к месту да впору. Весельчак был. Как скажет что-нибудь этакое, так все сразу животы-то и позажимают, чуть не по полу катаются от смеха. Умел он подобрать такую интонацию, что обычные фразы в его устах приобретали комичность и вызывали улыбки или смех.

А ещё он был мастером по копчению. Так, как коптил дядя Ваня, у нас в деревне коптить не мог никто. Хорошо коптил мой папа, а всё ж не так, как Иван Димитрич. Сало ли, мясо ли, птица ли у него были ароматными и мягкими — во рту таяли. И на вкус хороши, и на цвет тоже: золотисто-коричневые, светлые в меру копчёности у него были — никогда не пережжёт и рано никогда не вынет.

Хороший был человек, добрый. Про таких говорят, что у них душа нараспашку. Простым и щедрым был он человеком. Никогда не жадничал. Придёшь к нему в гости — без чая не отпустит, а то и обедать усадит. Да на стол-то самое лучшее подаст. А уходить будешь — с собой чего-нибудь вкусенького положит — сала копчёного шматок или мяса кусочек.

Марья Петровна была более экономной. Добром не разбрасывалась. По отношению ко мне, например, она и скрягой не была. Как ни зайду к ней, всегда чем-нибудь накормит. Но всё же экономность её иногда была заметна.

Поехали как-то раз супруги Зайцевы в Отрадный на рынок. Зашли в мясной павильон. Иван Димитрич помяснее куски выбирает, а Марья Петровна — подешевле. Взялись они спорить, да ни к чему не пришли. И решили, что пусть каждый себе про-

дукты покупает. Дошли до конфет. Иван Димитрич себе шоколадных набрал: «Кара-кум», «Куйбышевские», «Мишки на Севере» и другие. А Марья Петровна себе только «Подушечки» взяла. У нас их ещё голенькими называют.

Приехали домой. А на другой день к ним в гости племянник тёти Маруси с семьёй из Нижневартовска приехал. Он в Отрадном у матери отпуск проводил да вот решил тётушку проведать. Не с пустыми руками он приехал: шашлык замоченный, да и сам мангал с собой привёз.

Наутро наварила тётя Маруся щей, картошку с мясом потушила, копчёностей, соленья да варенья подала к столу. Потом чай сели пить. Тётя Маруся свои «Подушечки» достала, а дядя Ваня свои шоколадные вынул.

Поели-попили гости да домой засобирались. Проводили их Зайцевы, а дядя Ваня и говорит:

— Вот как из-за жадности своей ты перед племянником осрамилась.

— А чего-ит такое-то? Где бы мне там, кажись, осрамиться-то? Не на чем, вроде-кося, — затараторила было жена.

— Да вот глянь — мои-то, шоколадные, съели, а твои-то, голенькие, лежат. Тебе бы и подавать их не след, а ты всю скупость свою так наизнанку-то и вывернула, — победоносно закончил дядя Ваня.

Тётя Маруся потом страшно не любила вспоминать эту историю, а дядя Ваня, наоборот, всем её рассказывал, особенно когда выпьет. Она на него злилась за это, а он и внимания на неё не обращал.

— От скупости отучаю, — важно и серьёзно, но с озорным блеском в глазах всегда говорил он.

В конце восьмидесятых годов пошла мода на гомеопатию. А специалистов в этой области у нас ещё не было. В Москве, в Ленинграде да ещё, может быть, в двух-трёх городах были такие больницы.

Моя сестра Татьяна по совету знакомых решила поехать в Москву в гомеопатическую поликлинику. У меня в то время были проблемы с давлением из-за подросткового возраста. Вот мама и меня с сестрой отправила. А когда решался вопрос с моей поездкой, у нас в гостях была тётя Маруся Зайцева. Услышала она про такую поликлинику и тоже решила с нами ехать. Вот так втроём и отправились мы в Москву. Там-то и произошёл с нами забавный случай, о котором я хочу рассказать.

Наш скорый фирменный поезд № 9 «Жигули» сообщением Куйбышев — Москва прибывал на Казанский вокзал очень рано — что-то около половины седьмого. Поэтому в поликлинике, которая находилась на шоссе Энтузиастов, мы были в числе первых пациентов.

Недалеко от поликлиники, на Щёлковской, находился универмаг «Первомайский». Вот после приёма у врача мы и отправились туда за покупками. Универмаг открывался в десять часов. Мы успели туда к самому открытию. Когда подошли к универмагу, возле дверей уже стояло несколько человек, среди которых было два высоких стройных негра, одетых в спортивные костюмы «Adidas». Они стояли по обе стороны больших стеклянных дверей, сквозь которые было видно часть торгового зала и женщину-продавца в форменном коричневом сарафане в большую клетку, идущую ко входу, чтобы отпереть двери. Всё, что случилось дальше, сложно описать в хронологическом порядке, потому что все события произошли одновременно.

Мария Петровна, ни разу в жизни не видевшая живых негров и, честно говоря, имевшая весьма смутные представления о том, как они выглядят, поначалу немного опешила и округлила глаза, увидев их, стоявших у входа в почти одинаковых спортивных костюмах. К слову сказать, она и костюмов-то таких тоже не видела, да и не могла подумать, что люди в трико, пусть даже и фирменном, могут разгуливать по Москве. Не деревня же, а город, да мало того — столица. А раз это дело нестаточное, то она и решила, что эти негры — манекены, которые выставлены здесь, чтобы завлекать покупателей и рекламировать одежду.

Недолго думая, она подошла к одному из них и взяла его за руку со словами:

— Смотрите-ка! Как живой!

Когда негр отдернул руку и вопросительно посмотрел сверху вниз на тётю Марусю, её глаза не просто округлились ещё больше, а едва не выскочили из орбит. Она отскочила от него, как ужаленная, и стремительно бросилась к дверям, которые в эту же секунду отперла продавщица. Тётя Маруся сбила её с ног и рванулась вглубь торгового зала. Все, кто видел эту сцену, включая самого негра, долго и весело хохотали. Недовольных было только двое: продавщица, сбита с ног тётей Марусей, да сама тётя Маруся, которую мы с Татьяной потом едва отыскали в каком-то из отделов верхней одежды, где она пряталась за ряда-

ми зимних женских пальто с норковыми, песцовыми или лисьими воротниками.

— Я думала, что умру на месте, как он зыркнул на меня своими белыми глазищами на гуталиновой роже, — с содроганием вспоминала потом тётя Маруся.

— А руки-то у них как наши, только чёрные. А так — и гладкие, и тёплые, и с ногтями. Вот только не знаю теперь: кровь-то у них красная, как наша, а иль тоже чёрная, а иль, может, синяя какая, — уже дома рассказывала она маме.

Позже, когда я кому-нибудь рассказывал этот случай при тётке Марусе, она всегда весело смеялась и шутила:

— А нечего им было стоять как истуканы. Хоть бы руками болтали иль головами качали. Я б тогда ни в жисть не подошла.

Ещё один случай приключился с нами в универсаме, куда мы поехали за продуктами.

Во времена СССР было много хорошего, но были и свои недостатки. В конце восьмидесятых годов одним из таких недостатков был дефицит. Обиднее всего был тот факт, что в дефиците была даже та продукция, которая производилась в нашем же регионе. Вот, к примеру, шоколад и шоколадные конфеты Куйбышевской шоколадной фабрики «Россия» в нашей же Куйбышевской области было днём с огнём не сыскать. И так со многими другими дефицитными товарами. А всё дело было в том, что вся страна в первую очередь работала на Москву, Ленинград и столицы союзных республик. Там проблема дефицита почти не стояла. Во всяком случае колбасы, шоколада, сгущённого молока, кофе, апельсинов, мандаринов, бананов и многого другого было вволю.

В то время от нас в Москву даже ходили так называемые «продуктовые» поезда. На самом-то деле поезда были обычными, но в пятницу вечером многие куйбышевцы отправлялись в Москву за продуктами. В субботу с утра и до вечера они ходили по московским магазинам и делали покупки. В основном это были те самые продукты, которые у нас были в дефиците, но многие ехали в Москву не только за продуктами, но и за одеждой, и за обувью. Совершив все покупки, уставшие, но довольные, с полными сумками, куйбышевцы вечером садились на обратный поезд и в воскресенье утром были уже дома.

Так вот пришли мы втроём в продуктовый магазин и первым делом отправились в колбасный отдел. Смотрим: колбасы на витринах всякой полным полно, возле прилавка выстроилась очередь, но никто и ничего не покупает.

— За чем очередь? — поинтересовались мы у очередников.
 — За колбасой, конечно, — с улыбкой ответил один мужчина.
 — А чё ж никто её не берёт? — недоуменно спросила тётя Маруся.

— Сейчас куйбышевскую привезли. Разгружают уже. Вот её-то и ждём. Там все колбасы лучше, а особенно хороша «Останкинская», — терпеливо, но немного свысока объяснила пожилая москвичка провинциалам.

— А вы, если хотите, то можете и эту брать, — с ухмылкой сказала немолодая дама интеллигентной наружности.

— Ну, уж нет! — резко оборвала её Зайцева. — Свою колбасу и повезём домой!

А потом негромко добавила:

— Чё ж, мы свиньи, что ль, покупать колбасу, какую люди не едят, — сказала и с важным видом пошла занимать очередь.

Мы потеряли почти час, но зато колбасы накупили вволю: по палке каждого сорта взяли, а «Останкинской» — аж по две. И потом, часто рассказывая эту историю соседкам, Марья Петровна всегда возмущалась:

— Эт надо ж только подумать: как избаловались московские-то! Колбаса не та! Куйбышевскую им подавай! С жиру бесятся — больше ничего! У нас — по талонам для городских, да и то, говорят, не всегда купишь свежую, а нам, деревенским, разве что понюхать дадут. А у них там пять, а то и десять сортов колбасы всякой: бери не хочу, а они нос воротят.

Ещё один казус вышел с фруктами. Пришли мы с полными сумками колбасы во фруктовый отдел. Больше всего нас интересовали бананы и апельсины.

— Тут, чай, куйбышевских не дожидаются? — ворчливо поинтересовалась тётя Маруся.

— Так они ж у нас и не растут, — ответил я.

— Вот и хорошо! — заключила она.

В отделе было много разных фруктов, в том числе и грейпфруты. Мы с Татьяной стали набирать апельсины. Килограммов по пять набрали. Мария Петровна тоже решила от нас не отставать. Только вместо апельсинов набрала все пять килограммов грейпфрутов.

— Чё-ит вы мелких каких набрали? Гляньте-кось, какие крупные вон там лежат, — стала она со знанием дела наставлять нас.

— Так ты ж грейпфрутов набрала, а не апельсинов, — улыбнулись мы ей в ответ.

— Ну и чё ж? Эт всё одно, только эти покрупнее, — не хотела поверить в свою оплошность тётя Маруся.

— Нет, не всё одно, — сказали мы. — Апельсины сладкие, а грейпфруты горькие.

— Ну да?! — с сомнением покачав головой, не сдавалась она.

— Правда-правда, — подтвердил наши слова тот самый мужчина, что был с нами в одной очереди за колбасой.

Недовольно хмыкнув, Мария Петровна пошла назад к ящикам с грейпфрутами и выложила... половину сетки.

Потом, когда уже вечером в поезде Зайцева попробовала грейпфрут, то разочарованно отодвинула его в сторону, но виду старалась не подавать.

— Не хочу чё-ит, — наигранно сказала она. Но по гримасе, которую она сделала, не доев даже и одной дольки этого «крупного апельсина», сразу было заметно, что она лукавит.

Дома она потчевала грейпфрутами мужа.

— Ешь, Ванюшка, вот эти. Как их там? Горные фрукты, что ли. Эт как апельсины, только с горчинкой. Зато для глаз полезны, — на ходу придумала она, зная о проблемах мужа со зрением.

Дядя Ваня попробовал один и говорит:

— Да ты знаешь, Марусенька, я и так неплохо вижу, а вот тебе с той осени ещё очки-то прописали. Вот ты их и ешь. Они для тебя полезнее будут. А я уж, ладно, так и быть, простые апельсины есть буду.

— Да я и без очков хорошо вижу, — сконфузилась тётя Маруся.

— Видишь ли? А может, сахара в них много, сладят они лишнего, эти твои горные апельсины-то? — иронично поинтересовался муж.

— Ну, ладно! Обмишулилась маленько. Теперь чё ж, разорвать меня, что ли? — вспыхнула тётя Маруся.

А с бананами ещё интереснее вышло. Бананы тогда продавались зелёными, и их нужно было положить в тёмное место, обычно под койку, чтобы они там созревали. А некоторые, наоборот, советовали положить их на подоконник, чтобы на солнышке они быстрее созрели. Вот набрали мы таких бананов тоже килограммов по пять да повезли домой. Насилу дотащили мы свои огромные сумки-чемоданы, ведь, кроме колбасы и фруктов, там было ещё и по несколько банок кофе и сгущёнки, по большому куску сыра обычного да по палке копчёного плавленого и что-то ещё. Килограммов по тридцать продуктов привезли мы домой.

Не перестаю удивляться вкусам и желаниям человека: ну, ладно, фрукты, а колбасу и сыр мы в деревне сами делаем, натуральные да повкуснее магазинных, а всё к суррогату тянемся.

Так вот, по приезде домой я разделил бананы на две части и разложил их по разным местам: одну часть положил под кровать, а другую — на подоконник. Не помню, где быстрее они созрели, но мы не выкинули ни одного.

Спустя несколько дней приходит к нам Мария Петровна. На ту пору у нас Кураиха была. Сели они чай пить, и тётя Маруся стала рассказывать о своих приключениях. Когда речь дошла до бананов, тётя Маруся, обращаясь ко мне, разочарованно сказала:

— А бананы-то эти — тоже ерунда! Трава травой! Мы и так их ели, и варить пробовали: всё одно — никуда не годятся! Корове кинули — так и она есть их не стала. Во какая гадость!

— Да ты что, Маруся?! — удивилась мама. — А у нас хорошие.

— Как эт так?! Мы ж с одного ящика брали, — недоверчиво произнесла тётя Маруся.

— Да вот на, попробуй, — сказала мама. Она достала из холодильника банан и отрезала ей половинку, а другую отдала Кураихе.

— Эх! Сладкие какие! — удивилась тётя Маруся, откусив кусочек. Потом она обратила внимание на то, что шкурка у бананов не зелёная, как была в магазине, а жёлто-коричневая.

— Э! Да эт не те бананы! — разочарованно произнесла она.

И немного подумав, добавила:

— Нет! Не те! Наши зелёные были, а эти жёлтые. Наверно, ребята подсмеялись надо мной. Сами спелых набрали, а мне ничего не сказали, — с досадой сказала Мария Петровна.

— Хотя нет! — тут же опомнилась она. — Мы ж с одного ящика брали. Ничего не понимаю.

— А ты когда их есть-то пробовала? — спросила мама.

— Сразу, как приехали, — ответила подруга. — И так ели — никуда не годятся, а варить пробовала — так ещё хуже.

— Да ты чё?! Рази их варят?! — рассмеялась Кураиха.

— А ты больно много знаешь! Чай, каждый день только бананы и ешь! — съязвила Зайцева.

— Важный не важный, а один банан нам с Сенькой Серёженька (так в минуты благорасположения она называла меня) приносил. Мы ели — больно хороший был. Сладкий да душистый, — спокойно парировала Кураиха.

— Маруся! Они их, как привезли, так Серёжка их половину под койкой разложил, а другую половину — на окошках в передней избе, — сказала мама. — На окошках скорей поспели, а под койкой вот только дошли.

— Ты ж осенью зелёную помидору под койкой держишь, чтоб там доспевала, — начала было Кураиха.

Однако тётя Маруся в сердцах перебила её:

— Ладно! Ты-то меня хошь не учи! Умные, я смотрю, какие все стали!

— А чё-ит мне тебя не научить-то? Чай, не дурее других буду, — полушутливо, полусерьёзно ответила Кураиха, но при этом в глазах у неё сверкнули недобрые искорки. Но в этот момент к нам зашла Полинка, и они сменили тему разговора.

Когда умер дядя Ваня, тётя Маруся ещё больше сблизилась с нами. На ту пору и моя мама уже была вдовой. Тётя Маруся после смерти своей матери, бабки Матрёны, да после смерти дяди Вани стала бояться ночевать одна. Вот и стала она приглашать к себе с ночёвкой маму да тётю Надю Четыркину. До полуночи они вели беседы и гоняли чай. Некоторое время спустя умерла и тётя Надя. И стали они ночевать друг у друга по очереди. А потом тётю Марусю на зиму стала забирать её дочь Валя. Только летом стала Зайцева жить в своём доме, а спустя года два или три она закрыла дом и переехала к дочери насовсем. С тех пор в Марьевку она приезжала лишь к нам в гости недели на две или три зимой и так же летом.

Когда тётю Марусе было восемьдесят два года, она поехала с нами к морю в Лазаревское. В ту пору наша очень близкая подруга, родственница, можно сказать, выдавала дочь замуж, и мы были приглашены на свадьбу. Вот тётя Маруся и поехала с нами.

Мы поехали на машине, и дорога заняла почти двое суток. Всё это время я был за рулём, а тётя Маруся сидела рядом и не сомкнула глаз. Там, в Лазаревском, мы пробыли десять дней. Тётя Маруся ходила с нами на море, в парк, ездила в горы — не отставала от нас нигде. На обратном пути в Волгограде мы заехали на Мамаев Курган. И тут она везде побывала.

Когда мы вернулись домой, у нас собрались соседки послушать рассказы о нашем путешествии. Тётя Маша Гусманова спросила у тётю Маруси:

— Ну, как, Марья Петровна? Понравилось тебе на море?

Тётя Маруся улыбнулась и сказала:

— Дура была, что смолоду не ездила. Привязались мы к своим коровам, овцам да свиньям, а жизнь-то вся мимо прошла. Кроме работы, дома да сараев, ничего в ней и не видели. Только и знали, что то сено, то зерно, то дрова готовили. А оказывается — в мире вон какие красоты есть. Возьми хошь горы, хошь море. Кто бы рассказал, что такие высокие да каменные горы бывают, а у моря и краёв не видать, никогда бы не поверила. А они есть, да ещё какие. А людей-то там сколько — яблоку негде упасть. Вот молодцы! И работать умеют, и отдыхать, а мы всё к своей скотине привязались.

После того каждый раз, когда приезжала к нам, тётя Маруся просила, чтобы я ей в ноутбуке фотографии того нашего путешествия показал. Любила она вспоминать ту поездку.

Хотела она с нами и в Крым съездить, да дочь не пустила. Переживала за неё, боялась, что не выдержит она такой дальней дороги. Восемьдесят седьмой год ей шёл всё-таки.

Санян и Жуконька

Почти напротив нашего дома на том порядке, на западном, жила семья Ширшовых, а по-уличному все их Царёвыми называли. А всё потому, что их предки были государственными крестьянами, царскими то есть. Хозяйкой в доме была Марья Яковлевна — маленькая худая старушка с морщинистым лицом. В деревне её все считали колдуньей. К ней ходили гадать и говорили, что она хорошо гадает: всю правду рассказывает, и всё, сказанное ею, всегда сбывается.

Будучи уже подростком, обо всём этом я слышал часто, но её в то время уже не было. Она умерла, когда я был ещё совсем маленьким. Не знаю почему, но я её любил и часто бегал к ней. Она возьмёт кусок хлеба, сбрызнет его водой, посыплет сахаром и меня им угостит. А я прибегу домой с этим куском, как с неведомо каким вкусным лакомством, и радостно кричу:

— Мне Марья Яковлевна хлеб дала! Мне Марья Яковлевна хлеб дала!

Если в это время дома была моя старшая сестра Татьяна, то она всегда ругала меня за это и пыталась отобрать этот заветный кусок.

— Ты дурак, что ли? Зачем берёшь? Чё, иль голодный? Отдай сейчас же! — сердилась она на меня, пытаясь отобрать гостинец Марьи Яковлевны.

Иногда ей это удавалось, и тогда я ударялся в рёв.

— Мне Марья Яковлевна его дала! Это мой гостинец! Отдай! — сквозь слёзы возмущался я и требовал вернуть моё сокровище.

И чаще всего этот кусок оказывался или у кур, или в ведре с телячьим пойлом. Но иногда сестре не удавалось отобрать этот невероятно вкусный хлеб, потому что я, едва завидев сестру, старался сразу запихнуть его себе в рот.

В то время деньги в кошельках или, как их ещё называли, в гаманках держали только достаточно состоятельные по тем временам люди, а старики обычно заворачивали их в уголок носового платочка и завязывали его узелком.

Однажды бабака ходила в магазин за хлебом. Домой пришла, хлеб из сетки вынула да в своё место убрала, а узелок с деньгами нигде найти не может. Вроде бы и помнит, что уже дома его доставала, а вроде бы и нет. Искать взялась. Все карманы проверила, под перину заглянула, в сундуке и на божнице посмотрела — нигде узелка нет. Стала она на Лидию Григорьевну, продавщицу магазина, думать, на баб, что в магазине были и могли видеть, как она свой узелок выронила или мимо кармана сунула. На кого ни погрешит — всё мимо, самой в это не верится. И уже готова была бабака распрощаться со своими деньжонками, но всё же решила ещё раз в магазин сходить: не сознается ли кто.

Пошла она в магазин-то, а Марья Яковлевна у двора на лавочке сидела.

— А ты чего эт, Серафимка, вдругорядь в магазин-то? — спросила она бабаку.

— Да вот беда у меня: узелок с деньжатами потеряла или украд кто. Вот дай, думаю, ещё раз в магазин-то схожу. Может, усовестится кто да узелок-то отдаст, — ответила бабака.

В магазине она, конечно, ничего не нашла и отправилась домой, перебирая в уме, кто бы это мог быть её обидчиком. Когда она снова поравнялась с избой Царёвых, Марья Яковлевна подождала её к себе и говорит:

— Зря ты, Серафимка, на добрых людей грессишь. Никто его у тебя не брал. Дома он у тебя. Иди домой ищи.

— Да я уж всё проверила — нигде нету, — ответила бабака.

— А я сейчас карты раскинула и вижу, что дома он у тебя. Только в каком-то засорении. Иди, ищи лучше, — настаивала на своём Марья Яковлевна.

Бабака пожалала плечами и пошла. Узелок на другой день нашёлся: за стол упал. У бабаки в чулане стоял деревянный кухон-

ный стол с тумбочкой. Вот, когда бабака хлеб-то на этот стол вынимала из сетки, платочек-то с деньгами нечаянно за стол и столкнула. Наутро стол-то отодвинула, а пропажа-то между столом и стенкой посреди паутины и мелкого мусора в засорении и лежит.

И мне всегда казалось странным, что про всех в Марьевке что-то говорят, кого-то хвалят, кого-то ругают, а про Марью Яковлевну не говорили ни хорошо, ни плохо, только то, что она отлично гадает. А те, кто осмеливался называть её колдуньей, делали это полушёпотом. Про Таняку, тётку Нюрку, тётку Настьку Гордюшину и про некоторых других говорили почти все и совершенно открыто. Почему так? Я до сих пор и сам не знаю.

Когда она умирала, я не знаю, но хорошо помню её похороны. В гробу лежала странная покойница: вроде бы всё та же Марья Яковлевна, но лицо её почему-то было словно маска, раскрашенная по вертикали ровно пополам в два цвета: одна половина лица была свекольно-красного цвета, а другая — исчерна-фиолетового.

У Марьи Яковлевны было четверо детей: два сына и две дочери. Один сын жил на Украине, другой сын и одна дочь жили с ней в Марьевке, а ещё одна дочь жила в Отрадном. Сына, который жил в Марьевке, звали Сашкой, а по-уличному его именовали не иначе как Санян, а сестру звали Верой, а прозвище, которое ей дал Зубаков, было Тега. Кураиха же почему-то прозвала её Жуконькой. Оба они были худощавыми и очень маленького роста — метра полтора, не больше.

Санян и Жуконька жили особняком. Поговаривали, что они оба переняли страшный дар от матери. Основания для таких суждений были. Во-первых, как только кого-то из Марьевки хоронили, так в эту же ночь, в самую глухую полночь, Жуконька обязательно шла на кладбище. Что она там делала, никто не знал, но раздражало и пугало это многих, особенно тех, из чьей семьи был покойник. Во-вторых, креста она не носила, а в доме не было икон. В-третьих, и брат, и сестра, несмотря на их весьма маленький рост, обладали недюжинной физической силой. В-четвёртых, обычные люди из сметаны пахтают масло в пахтушках, которые стоят на столе, ну, иль хотя бы на полу, но Жуконька всегда летом пахтала масло в погребе, а зимой — на русской печке. Все эти странности и породили разговоры о колдовстве.

Брат и сестра не имели своих детей. Санян по молодости женился на сестре Лавры Надясь — Нюрке, но Марья Яковлевна и

Тега выжили из дома молодую сноху и развалили брак. Немногом больше года и прожили-то молодожёны. С тех пор Санян больше никогда не женился. А Тега, или Жуконька, вообще никогда не выходила замуж. Так вот всю жизнь и прожили брат с сестрой вместе. Все думали, что, когда умрёт Марья Яковлевна, Санян и Жуконька создадут свои семьи, но к тому времени они были уже немолодыми, так что этого не случилось.

Санян смолоду работал в бурении, но недолго. Большую часть жизни он проработал скотником на нашей марьевской ферме. А Вера работала в нефтяной отрасли — оператором на компрессорно-насосной станции, где в недра Земли закачивают солёную воду вместо выкачанной оттуда нефти. От работы ей выделили однокомнатную квартиру в Отрадном. Тега поставила там кровать, стол, холодильник, то есть создала видимость жилой квартиры, а сама жила с матерью и братом в Марьевке.

Несмотря на то, что оба они были бездетны и им некому было помогать, некого растить, учить и поднимать на ноги, они не были лежебоками и трудились не покладая рук. У них было большое хозяйство: три, а иногда и четыре коровы, столько же полугаров и столько же телят, да ещё куры. Чего стоит только подоить три или четыре коровы да определить молоко, не говоря уж о том, сколько времени и сил нужно, чтобы накормить и напоить от двенадцати до шестнадцати голов крупного рогатого скота, а ещё и навоз за ними почистить надо. И это всё ежедневные хлопоты. Но ведь чтобы накормить скотину, надо, чтобы было, чем накормить. А заготовить сено для такого поголовья одному мужику было нереально. Либо он должен был нигде не работать и заниматься только заготовкой сена.

Ширшовы жили по соседству с Зубаковыми. Иногда они дружили, иногда ругались, но на сенокосе Санян всегда был с братьями Зубаковыми, которые имели свой трактор и всё навесное и прицепное оборудование к нему: травокоску¹, грабли, телегу и кун для погрузки сена. Зубаковы всегда заготавливали много сена, а особенно тогда, когда Улогий был лесником. Такой адски тяжёлый был у них бизнес: они потом продавали это сено. Так было даже при советской власти. Санян помогал им, а плату за свои труды брал сеном. Был у них между собой какой-то договор о долевом участии. Заготовленное сено делилось на четыре части: одна часть доставалась Саняну, а остальные трём братьям.

¹ Травокоска — навесное оборудование для трактора, предназначенное для покоса травы и сена. То же, что травокосилка.

Но этого запаса даже с учётом собственного сена, которое Санян собирал со своего огорода, катастрофически не хватало. К великой радости Саняна и Жуконьки, существовали совхозные омёты с сеном, часть которого зимой благополучно перекочёвывала в кормушки скотины Саняна. Так поступали многие, но тот способ, с помощью которого это происходило, у Саняна был авторским. Пока Санян работал на ферме, его способ доставки сена, силоса и фуража ничем не отличался от того, какой использовали другие скотники. Но когда он вышел на пенсию, то у него не стало лошади, поэтому он и был вынужден разработать свой, авторский, метод, которым пользовались они с сестрой, и который частенько пугал припозднившихся путников.

Зимой темнеет рано. В сумерках Санян, а когда его не стало, то сама Жуконька брали длинную верёвку и вилы и направлялись к совхозным омётам, стоящим в поле сразу за нашими огородами. Сначала добираться до них было тяжело потому, что приходилось лезть через сугробы по пояс в снегу, но с каждым разом дорога становилась легче: снег утрамбовывался и затвердевал, превращаясь в проторённый путь. Омёты-то были за нашими огородами, а Ширшовы жили на противоположном порядке, поэтому им приходилось идти через дорогу. Добравшись до омётов (а это около километра), Санян раскладывал на снегу верёвку в форме дуги, накладывал на неё большую кучу сена, а потом затягивал её петлёй. Он взваливал себе за плечи эту огромную вязанку, за которой Саняна совсем не было видно, и уверенно тащил её на себе до самого дома, лишь изредка останавливаясь, чтобы перевести дух. То же самое вытворяла и Жуконька, когда ей пришлось ходить за сеном самой.

В Конце за деревней была силосная яма. Она служила источником корма для скотины Ширшовых. За силосом ходил только сам Санян, потому что силос не в пример тяжелее сена. Ходил он за ним строго ночью. У него были сани, похожие на розвальни, но только под человека, а не под лошадь, и большой мешок типа наперинницы. Так у нас зовётся чехол, куда набивают пух для перины, а такой же чехол для подушек у нас зовут наперником. Санян набивал эту наперинницу силосом так, чтобы она сразу оказалась на розвальнях. А потом он привязывал этот огромный мешок, за которым его самого было не видно, к розвальням, впрягался в них и тащил эту поклажу домой более километра.

Дядя Юра Иксанов рассказывал такую историю:

— Как-то раз был я в ночную смену, с восьми вечера. А зимой темнеет рано. Вот иду я по улице на вахту, а кругом темно: тогда на всю улицу было три фонаря. Луна, хотя и светила ярко, но на небе были тучи, и она то и дело скрывалась за ними. Иду я себе, иду и вдруг вижу, что навстречу мне прямо по дороге ползёт какая-то куча и время от времени пыхтит. Я сначала опешил, а бежать некуда — кругом сугробы, а остановка впереди, за этой ползущей кучей. Назад не побежишь: мне на работу надо. Вперёд надо, а не назад. И идти надо, и робость берёт. Растерялся я. Хорошо, что в этот момент луна из-за тучи выглянула и осветила всё вокруг. И тут в бледном лунном свете я увидел Саняна, волокущего на себе огромный мешок с силосом. В тишине морозной ночи далеко раздавались его пыхтение и скрип снега под полозьями саней. А от мешка разносился знакомый терпкий и кислый запах тёплого силоса. Мешок был такой большой, что самого Саняна на его фоне и не было заметно. И откуда у него такие силы?! Иные здоровые мужики и втроём-то с трудом бы тащили на себе такую тяжесть, ведь незамороженный силос очень тяжёлый. А он один его на себе волок.

Старики рассказывали, что родители Марьи Яковлевны были очень бедными, почти нищими. Когда она была ребёнком, то ей частенько случалось ложиться спать на пустой желудок. И нередко всей семье приходилось под окошками Христовым именем питаться. Когда Марья Яковлевна выросла, то вышла замуж за Петра Ширшова из точно такой же нищей семьи. Жили молодёжны очень скудно, но богатели детьми. Когда дети выросли, то Любка и Ванька улетели из родного убогого гнезда, а Санька и Верка остались в нём век вековать. Те, кто упорхнул, построили свои жизни так, как жило в то время большинство людей: завели семьи, нарожали детей, получили квартиры, дружили семьями, на праздники вместе гуляли, на выходные или в отпуски ездили к родителям, накопили сколько-нибудь денег на сберкнижках, вышли на пенсию, отдали свои сбережения детям, если успели, а если не успели, то были ограблены правительством собственного государства во главе с Борисом Ельциным и главным вором — Анатолием Чубайсом, а потом, не снеся горя и унижения, умерли, окружённые вниманием и заботой детей и внуков. Не такая судьба ждала тех двоих, что остались в этом родимом гнезде. Санян и Жуконька не создали семей, не нарожали детей и жили ради племянников от сестры. Они всегда держали много скотины, работали, а жили в крайней нищете. Дома у них

было темно, грязно и очень бедно. Помню, у них была литровая эмалированная кружка зелёного цвета, которая выполняла сразу несколько побочных функций, кроме основной: была кастрюлей, потому что в ней Жуконька варила похлёбку, была чайником, потому что в ней кипятили и заваривали чай, и, наконец, в неё собирали сливки, когда пропускали молоко через сепаратор.

На задах за почтой, у канавы, была несанкционированная свалка. Туда свозили в основном навоз и мелкий бытовой хлам. На самом деле мусора было не так уж и много: возили туда редко и помалу, поэтому и свалкой-то в полном смысле слова это можно было назвать с большой натяжкой. Туда частенько наведывался Санян, но не для того, чтобы выбросить что-то, а, наоборот, для того, чтобы что-то найти. Не брезговал он ничем, что ещё хоть как-то могло в хозяйстве пригодиться, особенно обувь. Люди выбрасывали не только совершенно негодную обувь, но и ту, которая была ещё вроде бы целой, но потрёпанной, или такую, где одна галоша или сапог прохудились, а другой — ещё вполне крепкий. Очень часто на ногах у Саняна можно было увидеть одну галошу одного фасона или размера, а другую на размер больше или другого фасона. Бывали случаи и более интересные, когда он ходил в обуви на одну ногу, то есть обе галоши или оба сапога были только на левую или только на правую ногу.

Санян был любителем ловить рыбу в чужие сети. Рыбаки, ловившие рыбу сетями, у нас браконьерами не считались: так делали многие. Рыбнадзора у нас и в помине никогда не было, поэтому рыбаки не боялись какого-то наказания. Однако сети всегда ставили по ночам, скрывали это от всех. Но не страх наказания побуждал их к такой скрытности, а страх того, что их сеть мог кто-нибудь украсть либо проверить и очистить от рыбы. Этим «кто-нибудь» почти всегда были Зубаков или Санян, хотя бывало, что рыбаки могли и друг у друга увести сеть или улов. В то время готовых сетей в магазинах не продавали, а уважающие себя рыбаки сами сети вязали, да такие, что и сейчас ни в одном магазине не купишь. Так вот «навяжет» Санян чужими руками сетей, а потом начинает и сам в них рыбу ловить. Хотя он и бит был не раз за свои проделки, а «забавы» своей не оставлял. И сети вязал чужими руками, и рыбу в чужие сети ловил. Это всё равно как казахи сено дугой косят.

Жил в Сосенке один казах. Работал он на ферме скотником. У него было своё казахское имя, но у наших стариков есть при-

вычка всех нерусских «перекрещивать» на русский лад. Вот и его по-русски Сашкой называли. Был он большим шутником. Как-то раз во время сенокоса приехала мама в Сосенку прививки скоту делать. Жена этого казаха, которую, кстати, тоже по-русски Марусей называли, в обед пригласила к себе маму чай попить. Вот во время этого чаепития мама и спрашивает у него:

— Дядь Саш! А чего ж ты сено-то не косишь? Скотины-то полно, а чем её зимой кормить будешь?

А он улыбнулся и отвечает:

— Э, Вериван! Вы, русские, косой сено косите, а мы нет. Казахи дугой сено косят.

— А это как так — дугой?

— А вот придёт зима, может быть, и узнаешь, — с хитрой улыбкой ответил он.

Вот пришла зима. Приезжает как-то мама на лошади в Сосенку на ферму и видит, что у совхозного омета кто-то сено ворует, целый воз уже на сани наложил. Подъехала мама ближе, смотрит: а это дядя Саша старается.

— Дядь Саш! Ты чего ж это делаешь-то? А?! — строго спрашивает его мама.

А он ей отвечает:

— Да вот, Вериван, сено кошу.

— Как косишь?

— А так. Дугой и кошу. Помнишь, я тебе летом говорил, что казах дугой сено косит. Запрягает лошадь в сани и косит. Вон, видишь сбрую? А через лошадь в упряжи дуга перекинута. Вот ей самой и кошу, — сказал дядя Саша и весело расхохотался. С тех пор мама и узнала, как казахи дугой сено косят.

Вот и Санян так рыбачил. Только казахи-то у совхоза воровали. Я воровство не оправдываю. Воровство — оно воровство и есть. Но в то время наш совхоз заготавливал столько сена, что его хватало с избытком. И Санян так же косил, только вместо дуги у него верёвка была. Несмотря на то, что казахи, да и некоторые представители других национальностей своими дугами изрядно совхозные ометы подкашивали, сено всё равно оставалось до нового сенокоса. Сложат рабочие в ометы молодое сено, а старое так и остаётся. Поят в чистом поле такие прошлогодние ометы ещё до одного урожая, а потом, если предыдущий сенокос был богатым, осенью перед пахотой сжигали эти старые ометы. По два-три омета на нашем отделении каждую осень горели. Поэтому особо никто и не боялся дугой косить, и

никто таких косарей не осуждал, и уж тем более не бил. А вот Санянова рыбалка — иная статья. Не раз бока-то ему за неё наминали.

Обычные рыбаки сети ставили, плавая на лодках, а Санян и тут отличался. Резиновой лодки у него и в помине не было. Плавал он на старой камере от грузовика. Такие у нас баллонами зовутся. Разденется Санян до трусов и майки, сядет на коленки на этом баллоне и плывёт себе. Так он ставил сети и рыбу в них проверял, так сети и снимал. И свои, и чужие.

Всю жизнь проходил он летом в потёртых штанах и пиджаке, в галошах на одну ногу и в засаленной до блеска фуражковосмиклинке, а зимой — в такой же засаленной фуфайке, а «в люди» — в стареньком пальтишке с цигейковым воротником, в подшитых-переподшитых валенках, а «в люди» — в потёртых кожаных ботинках, которые ему кто-то отдал за ненадобностью, да в старой выцветшей кроличьей шапке-ушанке, бывшей когда-то чёрного цвета.

Вера одевалась немного лучше брата. Домашняя-то повседневная одежда у неё была примерно такого же качества и свойства, что и у Саняна, а вот «в люди» она одевалась гораздо приличнее.

Но эта их бедность, граничащая с нищетой, была мнимой и объяснялась не скудностью средств к существованию, а природной скупостью. Ширшовы были весьма богатыми людьми. Всю свою жизнь они только и делали, что занимались накопительством. Их зарплаты, потом пенсии, деньги, вырученные от продажи мяса и молочных продуктов, — всё это шло или на книжку, или в кубышку. Целый весенне-летний сезон Жуконька доила трёх своих коров, пропускала молоко на сливки, делала сметану, а потом пахтала из неё сливочное масло и, наконец, перетапливала его. А Санян потом всю зиму каждую неделю по субботам и воскресеньям ездил в Отрадный на рынок торговать топлёным маслом. И каждый раз он привозил на рынок по два больших эмалированных ведра топлёного масла, которое всегда было в цене, поэтому и барыши он получал хорошие.

В павловскую денежную реформу девяносто первого года, когда при правительстве Павлова меняли пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры старого образца на новые, Санян вынес на середину улицы большую сорокалитровую флягу, полную денег в пятидесятирублёвых и сторублёвых купюрах. Он высыпал все деньги прямо на дорогу. Получилась большая куча. На гла-

зах изумлённых соседей он её полил соляркой и поджёг. С тётей Дусей Зубаковой стало плохо от такого зрелища. А причина такого варварского отношения к трудовым запасам Саняна (а это были, действительно, трудовые запасы) крылась в том, что правительство во главе с Горбачёвым и Павловым, решившее не только развалить и продать врагам одну из могущественнейших империй за всю мировую историю, но и обокрасть, обнищить собственный народ, задумывая эту грабительскую реформу, разрешило обменивать реформируемые купюры в сумме, не превышающей всего лишь одну тысячу рублей. А Санян, у которого, кроме зарплаты, был ещё и весьма приличный доход от своего подворья, хранил почти все свои сбережения в крупных купюрах дома в кубышке, в роли которой была обычная фляга. И лишь незначительная часть его средств хранилась в Сбербанке «на книжке». То же самое было и со сбережениями Жуконьки. Когда поздним вечером 22 января 1991 года Горбачёв по телевидению объявил о денежной реформе, которая со следующего дня отменила хождение пятидесятирублёвых и сторублёвых купюр образца 1961 года, очень многие люди получили инфаркты, инсульты, а некоторые вообще умерли. Таким образом горбачёвская шайка решила многие задачи: во-первых, избавилась от части «социального балласта», ведь большинство умерших были люди со слабым здоровьем, значит, инвалиды, фактические либо потенциальные, во-вторых, отобрала у населения лишнюю наличность, которую государство не могло ничем обеспечить, и в какой-то мере сдержало инфляцию, а в-третьих, обогатилась за счёт украденных у народа денег. Это им понравилось, и они поняли, что воровать у народа можно легко и безнаказанно, поэтому они остановиться уже не могли. Так вот были украдены у народа сначала заводы и фабрики, потом земля и её недра, а закончилось тем, что и страну у народа тоже украли. Таким образом, три негодяя в Беловежской Пуще с коньячком под шашлычок решили судьбу целой страны, судьбы почти трёхсот миллионов человек.

Санян кинулся на почту, которая в то время в небольших сёлах выполняла ещё и функцию сберкассы, но тётя Надя Зубакова, которая была начальником нашего почтового отделения, отказалась менять ему больше разрешённой тысячи, за что получила огромную порцию угроз, оскорблений и проклятий со стороны Саняна и Теги. Тогда Санян стал предлагать людям, у которых не было в заначке наличной тысячи старыми купюрами, помочь обменять ему деньги сначала просто так, а потом

пятьдесят на пятьдесят, но даже этот, казалось бы, выгодный для людей коммерческий проект Саняна не дал желаемых результатов. Охотников поучаствовать в нём оказалось невероятно мало. Земляки, знавшие Саняна и Жуконьку как облупленных, не соглашались помочь ему даже ценой собственной очевидной выгоды. Ведь если бы Саняна поймали на этом, он сдал бы со всеми потрохами всех, принимавших участие в этой афере, к тому же Саняна был известным на деревне любителем писать доносы, анонимки и кляузы. Вот поэтому люди боялись и не доверяли Саняну. Честно говоря, мне тогда было жалко и Саняна, и тётю Веру. Ведь не криминальные, а свои, кровные, трудовые деньги приходилось сжигать. С таким тяжёлым трудом выращивали и содержали они свою скотину, не жалели ни времени, ни сил, себя не жалели, чтобы заработать свои тысячи. Недоедали и недопивали, отказывали себе во всём, лишь бы росла кубышка, а тут вдруг пришлось враз потерять накопления всей своей жизни. Хорошо ещё, что с ума не сошли.

Видимо, тяжёлое и голодное военное детство, рассказы матери об их нищенской жизни, откуда и появилось у них ещё одно, самое обидное прозвище — «побирушки», сформировали их патологическую скупость.

Вот как нищие могут деньги флягами на дороге сжигать.

Всех людей можно условно разделить на три большие группы: люди, о которых говорят, люди, о которых не говорят, и люди, о существовании которых не знают.

Чаще всего люди из первой группы живут яркой, насыщенной жизнью, и сами они яркие, запоминающиеся. Они всегда на виду и на слуху. Эдакие орлы. Но бывают среди них и вороны — вроде бы тоже хищная птица, но наглая, вороватая, хитрая, подлая и нечистоплотная. И люди бывают такие же. Саняна, к сожалению, был из их числа.

Вторая группа — это обычные среднестатистические люди. Они и звёзд с неба не хватают, но и в хвосте не плетутся. Их большинство. Именно они составляют толпу — серую безликую массу. По одиночке, казалось бы, ничем не примечательны, но толпой снесут, с ног свалят любого, продвигаясь к своей цели. Назовём их курами.

А есть ещё и третья группа. Эти люди живут тихо и незаметно, словно серые мыши. Их никогда не замечают, не обращают на них внимания, будто и нет их вовсе. Вот так и будем их называть — серые мышки.

Так, Саняна был этакой вороной — о нём частенько говорили в деревне, но всё больше с нехорошей стороны. Я помню один случай, когда Саняна стал не только предметом разговоров всей Марьевки на несколько недель, но и объектом публичной экзекуции.

В соседнем от нас доме, где последние свои годы жила Кураиха, раньше жили Горловы, дед Иван и бабка Татьяна. К ним из Ленинграда приезжал сын бабки Татьяны Зайцев Николай. Он всегда привозил с собою какой-нибудь дефицитный товар и продавал его в Марьевке. Больших барышей он не видел, но на компенсацию стоимости проезда да более или менее сносное существование во время отпуска, чтобы не быть в тягость старикам с их нищенской пенсией, ему хватало. Сейчас это назвали бы бизнесом, коммерцией, предпринимательством или чем-то в этом роде, а тогда это называлось спекуляцией, было делом малоуважаемым, мягко говоря, и строго преследовалось.

В этот раз Николай привёз десять искусственных шуб, которые в наших местах считались большим дефицитом. Девять шуб продались сразу, а одна что-то зависла. Отпуск подходил к концу, а она, негодяйка, так и продолжала висеть в шифоньере невостребованной. Перед отъездом Николай решил упрямую шубу, не желавшую продаваться, оставить у матери в надежде на то, что она рано или поздно продается, а деньги за неё бабка Татьяна вышлет по почте. Так он и сделал: сам уехал, а злополучную шубу оставил. А она и вправду оказалась злополучной.

Старик Горлов был участником Великой Отечественной войны. Там он получил многочисленные ранения от осколков разорвавшейся бомбы или мины, некоторые из которых навсегда засели в его теле и время от времени причиняли невыносимые боли и страдания. В такие дни он вспоминал про свои фронтовые сто грамм и пытался ими заглушить и боль, и страдания. А много ли старику надо? Две-три рюмки — и ему хорошо, а четвёртая — и он готовый.

Вот в один из таких дней Саняна улучил момент, когда дед Иван спал на печи мертвецким сном, а бабка Татьяна куда-то отлучилась, и с задов через сарай пробрался в дом, да и выкрал ту самую шубу. А как был Саняна очень хитёр, то домой её не понёс, а спрятал на кукурузном поле, находившемся за канавой позади наших огородов.

Горловы хватились пропажи не сразу, а дня через два. Они хотели было заявить об этом в милицию, да тот же Саняна и отговорил их от этого:

— Вы только о том подумайте, что участковый спросит вас, откуда вы шубу взяли. А как дознается он, что это Колька их из Ленинграда привёз да торговал тут ими, то загребут его за спекуляцию под белы рученьки, да отправят принудительно на курорт... в Магадан. А то и ещё куда подалее. Чё ж вы хотите — за шубу судьбу мужику поломать, что ль? — пугал стариков Санян.

— Да ты чё, Саньк?! На кой она сдалась нам, эта шуба-то?! Да пёс с ней! — испуганно восклицала бабка Татьяна.

— А лучше и вообще никому не говорите, чтоб до милиции не дошли слухи,— наставлял их Санян.

Однако новость о пропаже шубы всё же просочилась в народ и тут же облетела всю деревню.

Дед Иван взялся было ругать бабку Татьяну, а та только руками развела:

— Да я ни одной живой душе не сказывала. Разве только куме за великую тайну поведала.

Дед даже не нашёлся, что ей сказать. Он стоял, глотая воздух раскрытым ртом, а потом только рукой на бабку махнул. Вот так, «за великую тайну» от одной кумы к другой новость и облетела всю Марьевку.

Хотя Горловы и не заявили в милицию, следствие по делу о хищении шубы всё же началось, только розыск учинила не милиция, а народ, сами жители Марьевки. Мир сразу заподозрил Саняна: что это он вдруг и зачастил к старикам, и арестом сына припугнул, и отговорил заявлять в милицию. Поэтому за подозреваемым установили слежку. Конечно, никто не ходил за ним по пятам, но все его появления на улице замечались и вызывали сильнейший интерес.

И вот однажды люди заметили, что он сразу после стадов отправился на кукурузное поле. Сам по себе этот факт не вызывал удивления, но то, что Санян пошёл туда без топорика или большого ножа и без верёвки, заставило людей насторожиться. Будь у него верёвка и топорик, никто бы и не подумал обратить на него пристальное внимание. А чего ж тут удивительно-го? Ну, пошёл за кукурузой для скотины. Так многие ходили. А вот что ему, порожнему, там делать? Это вызывало большой вопрос. Да и походка его была какой-то вороватой. Санян явно нервничал: он даже не шёл, а скорее трусил рысцой, стараясь побыстрее пересечь улицу и скрыться в проулке, и при этом он то и дело оглядывался и озирался по сторонам, будто боялся погони.

Едва он скрылся в проулке, как несколько мужиков, сидевших за водокачкой, встали и быстро пошли за ним следом. В кукурузу за Саняном они не пошли, а засели в кустах на краю поля. Санян, видимо, надеялся, что сразу после стадов все будут заняты вечерней дойкой и уборкой скотины, но сильно просчитался, потому что этим занимаются в основном бабы, а мужики загодя натаскали в поильные чаны воды и набили кормушки зелёной травой.

Сумерки сгущались, а мужики всё сидели в своей засаде. И вот, когда почти стемнело, со стороны поля сначала послышался шелест листьев кукурузы, раздвигаемой пробирающимся через неё человеком, а потом чьё-то пыхтение и сопение. Сначала даже могло показаться, что это не человек, а какой-то крупный зверь пробирается через кукурузное поле. Наконец стебли первых рядов кукурузы раздвинулись, и на дорогу шагнул мужичок с большим мешком за плечами. Это был Санян. Он огляделся по сторонам и, не найдя ничего подозрительного вокруг, осторожно зашагал в сторону своего дома.

Мужики, сидевшие в засаде, дождались, когда он поравняется с ними, а потом, пропустив его немного вперёд, чтобы отрезать ему путь к отступлению в кукурузное поле, где его было бы сложнее поймать в темноте ночи, вышли на тропу прямо позади него.

— Саньк! Ноша-то плечи не тянет? — поинтересовался у него Харьков дядя Коля.

Санян подпрыгнул, как ошпаренный, и бросился наутёк. Несмотря на его резвость и прыткость мужики быстро догнали его и, повалив на землю, скрутили, связали ему руки за спиной. На ночь его закрыли в водокачке, а наутро повели на народный сход. Шуба, хотя и стала совершенно непригодной для её использования по прямому назначению, была вещественным доказательством безапелляционной вины Саняна. Санян, воруя шубу, второпях не придумал ничего лучшего, во что её вернуть, кроме как в парадных выходную льняную юбку бабки Татьяны. А она, кстати говоря, и не хватилась своей лучшей юбки, пока не увидела её на сходе.

— Да эт моя ж юбка-то! — удивлённо воскликнула она. — Вот паразит! Юбку-то ты зачем воровал? Она ж велика тебе, оглоеду! Ты ж утонешь в ней.

Народ дружно рассмеялся.

— А ты, тётка Таня, не печалься: юбку-то ты свою отстираешь, а вот шуба ваша пропала: угробил её мошенник, — сказала Андреянова тётя Надя.

Когда Санян украл шубу, то спрятал её на кукурузном поле, где она и пролежала больше недели, а дневной зной, пыль, утренние и вечерние росы, полевые грызуны и насекомые сделали своё дело, и шуба потеряла всякую ценность.

Народный сход постановил, чтобы Санян выплатил старикам Горловым государственную стоимость шубы без спекулятивной наценки их предприимчивого сына. А чтобы Саняну впредь не повадно было воровать у людей, его отстегали кнутом да, надев на него вывернутую наизнанку ту злополучную шубу и привязав его руки к жерди, просунутые в рукава той шубы, провели его по деревне из Пойма в Конец и обратно под смех, свист и улюлюканье людей. А рядом бежали ребяташки и кричали дразнилку:

— Водят вора на аркане. Не воруй ты больше, Саня!

Может быть, кто-то и скажет, что это самосуд, что так нельзя, а надо было по закону, но в деревенском мире свои, возможно, суровые, но справедливые законы. Во-первых, во всей полноте раскрывается суть принципа неотвратимости наказания. Во-вторых, государственный закон определил бы Саняну отбывание наказания в местах, не столь отдалённых, а мы с вами прекрасно понимаем, что тюрьма никого ещё не исправила, а наоборот, калечит и ломает человеческие души и судьбы. А тут что? Ну, почешет Санян три-четыре дня ушибленные бока да поротые зад и спину, почешет — да и всё тут. В-третьих, для других острастка да для ребяташек наука: смотрите-де, что может быть, коли воровать вздумаете. И, в-четвёртых, мир показывает своё отношение к тому или иному явлению, даёт ему морально-нравственную оценку. В данном случае было показано отношение мира к спекуляции: не продажную цену, а государственную постановили выплатить старикам. Притом что к торговле в деревне уважительное отношение. Деревенская жизнь всегда была неразрывно связана с базаром. Но уважали только торговлю товарами собственного производства, а спекуляцию в деревне осуждали. Слово «спекулянт» было оскорбительным. С такими людьми мало кто водил искреннюю дружбу, без выгоды. Да и те, кто водил, дружили с оглядкой да с большой осторожностью.

Так вот и прожил свою жизнь Санян: вроде бы вся жизнь его была на виду, и сам он был всегда на слуху, да только известность его была нехорошая. Умер он — и некому, и не за что словом добрым его помянуть. А умер-то он, кстати говоря, совсем не так,

как жизнь свою прожил, умер тихо и незаметно. Не сказать, что старый он был. Лет семьдесят ему было, когда он заболел. То ли болел он недолго, то ли скрывал ото всех свою болезнь, но умер он от туберкулёза. В ином случае такой диагноз заставил бы Марьевку недели три гудеть, а то и месяц, а тут — тишина. За всю свою жизнь я слышал всего о двух земляках, умерших от такой страшной болезни. Санян один из них.

Тётя Вера ненадолго пережила брата. Сначала она по инерции продолжила держать на своём подворье целое стадо коров, но первая зима настолько выбила её из сил, когда корма скоту не хватило и до половины зимы, а походы в совхозные омёты занимали почти весь световой день и выматывали силы до последней капли, что при первой возможности Жуконька распродала всё, кроме одной коровы. Племянники не пожелали помогать тётушке заготавливать сено, а потому она так скоро и легко рассталась со скотиной.

Жуконьку, как и её мать, на деревне почитали за колдунью. Но такого колдовского авторитета, как Марья Яковлевна, её дочь не имела. Бабы недоумевали, почему она так странно пахнет маслом, и откуда у них берётся столько топлёного масла, что Санян до самой весны возит его каждую неделю по два ведра на базар. Это казалось неестественным даже при таком большом поголовье скота. Поэтому бабы и решили, что она молоко у чужих коров отнимает.

Иногда бабы бегали к ней гадать на картах. Но гадала она не всем и с большой неохотой.

Много и других странностей замечали за Тегой. Когда в Марьевке случался покойник, то, пока он лежал дома, почти все бабы, да и некоторые мужики ходили «к покойнику» посидеть. Это было своего рода прощание с человеком. Люди приходили чаще всего вечером накануне похорон, а днём были родственники или одинокие старушки. Посетители приносили с собой что-нибудь из продуктов на помин своих родителей. В тех случаях, когда речь шла о поминовении усопших, под родителями подразумевались все умершие родственники. Женщины обязательно приносили с собой своё родовое поминание — маленькую книжицу или блокнот, где были записаны имена всех усопших родных, друзей и знакомых, а ещё приносили свечку для «своих родителей».

Придя к покойнику, люди садились возле гроба и вели разговоры об ушедшем, вспоминая преимущественно его добрые дела и поступки. Утром в день похорон к покойнику приходи-

ла Дунёка со своими певчими. Они зажигали все свечи и долго, часа три, молились, а когда Дунёка давала команду, гроб с телом усопшего выносили из дома, и траурная процессия направлялась к кладбищу. В то время покойников носили только на руках. Считалось позорным, если кого-то везли на машине или на лошади, если не было к тому объективных причин, связанных с плохой погодой: проливным дождём, сильной метелью, заносами на дороге, весенней или осенней распутицей с непролазной грязью.

Так вот, тётя Вера ни с вечера, ни в день похорон к покойникам не ходила и в последний путь никого не провожала. А в тот момент, когда покойника выносили из дома, где бы она ни находилась в это время, убегала домой, закрывалась на замок и лезла на печку, где сидела до тех пор, пока гроб не закопают, а люди не начнут возвращаться с кладбища. Не стали исключением ни похороны матери, ни похороны брата. Зато в первую ночь после похорон она к полуночи шла на кладбище и была там до первых петухов. Что она там делала, так никто и не узнал. Эту тайну Тега унесла с собой в могилу.

А умерла она странно и страшно. Была середина декабря две тысячи второго года. В ту зиму стояли страшные морозы. Столбик термометра опускался до сорока семи градусов.

Двадцать седьмого декабря того же года умер мой папа, поэтому я очень хорошо запомнил ту зиму. Мы двое суток копали могилу для отца. При сорокаградусном морозе рыльчики (так у нас зовут мужиков, которые копают могилу) более пятнадцати минут работать не могли и убегали греться в машину.

А семнадцатого декабря соседи заметили, что уже дня два не видят Жуконьку и у неё не топится печка: не было видно, чтобы из трубы шёл дым. Пошли к ней домой, а дом закрыт изнутри. Стали они стучаться, но им никто не открыл. Тогда Харьков дядя Коля взломал дверь. Мёртвую тётю Веру они нашли на холодной печке. Она была одета в пальто, на голове была шаль, а на ногах валенки, будто сейчас собиралась идти на улицу, да умерла. Но самым странным было то, что в руках у неё были зажаты карты: в левой руке она держала три карты винновой масти — шестёрку, девятку и даму, а в правой руке была зажата вся остальная колода.

Как, отчего и когда она умерла — никто не узнал, а потому днём смерти записали день, когда её обнаружили.

Была и ещё одна странность, общая для всех Ширшовых: Марья Яковлевны, Саняна и Теги. Странность эта заключалась в

том, что у всех троих в гробу лица были словно раскрашены в разные цвета: одна половина лица была яркого, красно-свекольного цвета, а другая была исчерна-фиолетовой.

Прожили Саняна и Жуконька свою жизнь без радости и умерли без печали. Их похоронили рядом с матерью. Пока была жива их сестра Люба, им поставили памятники с фотографиями, могилки навещали, за ними ухаживали. Но после смерти Любы я ни разу не видел, чтобы кто-то посещал эти могилки. И теперь они потихоньку приходят в запустение и превращаются в заброшенные и неухоженные.

Бабака Саня

История эта будет исключением, потому что она не из жизни Марьевки и главная героиня её не была жительницей нашей деревни. Но она наша родственница, которая много доброго сделала для моей мамы и её семьи, когда мама была ещё ребёнком. А самое главное, что она очень близка многим из марьевских жителей. И всё, о чём рассказывается в этой главе, реально могло бы произойти и в Марьевке. В любом случае я представляю эту историю на ваш суд, дорогие мои читатели. Вам решать, стоит ли её читать или же следует просто перелистнуть страницы.

У моей бабаки Маши была тётка, которая заменила ей родную мать, умершую, когда бабаке Маше было всего полтора года. Звали её бабака Саня. Я-то её не знал: она умерла, когда только родилась моя сестра Татьяна, но много слышал о ней, так что можно сказать, что знаком с ней заочно. Она так много хорошего сделала для бабаки Маши и её детей, что доброй памятью вошла в историю нашей семьи.

Когда мама ходила в школу, то на обратном пути заходила к бабаке Сане. Тогда все жили небогато, а мамина семья — особенно: отец погиб на фронте, а мать осталась единственной кормилицей четверых детей.

Так вот, когда мама заходила к бабаке Сане, та всегда тайком от своей снохи подкармливала её: то медовых сот в кружку наложит да кусочек хлеба даст, то яичко печёное, то печёной картошки да несколько маленьких кусочков сала.

Угощала и всегда приговаривала:

— А ты, Верка, ешь, ешь — не стесняйся. Дома-то, поди, голодно вам. Тяжело матери-то одной вас растить. А вы мать-то жалейте!

Бабаке Маше, действительно, было тяжело четверых детей на ноги поднимать. Матери у неё не было, а мачеха с самого бабакиного детства издевалась над ней, а теперь и вовсе знать не хотела. И свекровь, бабка Варя, после того, как сына Ивана с войны не дождалась, сноху, да и её детей не особо жаловала. А тут вскоре и ещё одна беда в дом пришла.

В феврале 1953 года возвращался с армии двоюродный брат моего деда. Они были тезками, но в семье деда было принято обращаться друг к другу уменьшительно-ласкательно (Дунюшка, Манюшка, Санюшка, Ванюшка, Еленька, Катенька, Васюрка и т.д.) либо выдумывать какие-то ласковые прозвища (Быбарь, Шуревна, Саняша, Каинька и т.д.). Вот этим самым Каинькой и был возвращавшийся со службы Иван. И возвращался не один, а вёз с собою молодую красавицу жену. По этому случаю на семейном совете было решено одним ударом убить сразу трёх зайцев: отметить разом и встречу, и запой, и свадьбу, чтобы лишний раз не тратиться.

А мать Каиньки, бабка Дуня, была родной сестрой бабки Вари. Вот приходит бабка Варя к бабаке Маше и говорит:

— Маньк! Ты, чай, слыхала: Каинька с молодухой из армии едет.

Бабака Маша молча кивнула. Она сразу смекнула, что не так просто пришла свекровь, но не могла догадаться, чего от неё хотят, какую роль отвели ей на семейном совете.

— Встретить-то его надо как следует, — продолжила бабка Варя.

— Надо, мамаша, — согласилась сноха. В их семье, да и во всей деревне было принято такое обращение к свекрови.

Бабка Варя заметно оживилась:

— Вот ты и поставь кадушечки две бражки-то. А как гнать-то вздумаешь, Дунюшка придёт помогать. На пару-то вы за ночь, поди, управитесь.

— Да ты что, мамаша?! — испугалась бабака Маша. — Под моими окнами большак-то¹ проходит. Ну как попадёмся? Ты-то вот, поди-ка, на стороне от большака живёшь. Так давай у тебя и поставим. А как гнать-то будете, я подсоблю.

— И-и-и! Что ты?! Что ты?! — замахала на неё руками бабка Варя. — Я и не ухороню. А ну как выпьет кто? У тебя, поди-ка, окромя ребятишек-то, и никого. Да и кадушки-то мои пропрели давно. Нет! Только у тебя — и весь сказ!

¹ Большак — главная, основная, центральная дорога. Большая дорога.

Делать нечего — пришлось бабаке Маше согласиться. В то время были иные нравы: старших уважали, стеснялись и не перечили им. А самогонного аппарата у моей бабушки сроду не было. Да и во всём Коптяжеве он был только у деда Ивана Егорова. Это сейчас самогонные аппараты в свободном доступе продаются, а тогда это строго преследовалось. Пошла бабака Маша к нему просить аппарат. Аппарат-то он дал, но за прокат потребовал, чтобы и на его долю она кадушку браги поставила. Деваться некуда — и на это она согласилась.

Выгнать три кадушки браги — дело нешуточное. Пришла к бабаке Маше кума, та самая бабка Дуня. Начали они с вечера, да за ночь-то не управились — и утро, и полдня захватили. А запах самогона почти на полдеревни разнёсся. Стали они разбирать свой подпольный спиртовой завод.

Время было обеденное, вот и случилось мимо участковому проезжать. Почувствовал он самогонные ароматы и завернул лошадь к дому бабаки Маши.

Увидела это её соседка, которая была дружна с участковым, выбежала к нему и стала просить:

— Ты куда же приехал-то?! Ведь здесь же дети мал мала меньше! Уезжай скорее! Христом Богом прошу! Уезжай скорее!

— Не могу я теперь уехать! Вся деревня видела, как я сюда подъехал. Поздно теперь, — ответил участковый и пошёл к дому.

В это время кума пошла выносить последнее ведро барды. Открыла она дверь, а на пороге участковый.

— Куда собралась, гражданка? — спросил он у неё.

Кума так перепугалась, что не сразу нашлась, что ответить.

— Да вот... козу к козлу веду, — ляпнула она первое, что взбрело на ум.

— Хороша коза! А козёл-то далеко живёт? — не удержался от шуток участковый.

Пока не состоялся суд, все в деревне твердили в один голос:

— При колхозе дадут! При колхозе дадут!

Но суд решил иначе. Приговор для бабаки Маши и кумы был одинаков: полтора года тюрьмы.

И когда бабаку Машу посадили в тюрьму, то бабака Саня вовсе перешла к ним жить. К тому времени дядя Коля, старший мамин брат, ушёл в армию, а тётя Клава, самая старшая сестра, вышла замуж. В доме остались тётя Маруся, средняя сестра да моя мама, младшая из детей бабаки Маши. Мама в то время училась во втором классе, а тётя Маруся — в четвёртом. Вот так и жили они

втроём. Голодно и холодно жили. Дров-то готовить некому. Пойдут с салазками в лес за хворостом, а много ли пожилая женщина да две девчонки принесут? Поэтому и приходилось экономить.

Истопит бабака Саня печку в задней избе, а в передней избе не только не топили голландку, но зимой даже дверь туда не открывали. В печке-то и еду приготовят, и лежанку для сна нагреют. Для избы печка-то большого тепла не даёт, зато как залезешь на неё да овчинным тулупом накроешься, враз от любого мороза согреешься.

Улягутся они втроём на горячей печке, а бабака Саня и возьмётся их учить.

— А вы, девчонки, молитесь, чтобы мамку вашу скорее отпустили. Коли станете Господа Бога об этом слёзно просить, то Он обязательно услышит ваши детские сиротские молитвы и сделает так, что мамку вашупустят. Будете за мамку молиться?

— Будем! — ответят девчонки.

— А вот прям щас и начинайте молитвы-то читать, — скажет бабака Саня и начнёт вполголоса читать наизусть молитвы, а девчата повторяют за ней.

У иконы теплится лампадка, вокруг тишина, а с печи раздаётся тихий полушёпот молитвы. То бабака Саня и девчонки за мамку молятся. Сёстры повторяют за бабакой молитвы, да незаметно и заснут, а бабака Саня дочитает молитвы, укроет их потеплее, перекрестит, да и сама за ними следом заснёт.

А другой раз скажет им:

— Вот давайте, девки, оброк¹ Богу дадим. А оброк такой: как мамка придёт, так пойдём в Заплавное в церкву пешком. Бога благодарить будем.

Бабаку Машу и вправду через три с половиной месяца выпустили. Из армии за неё хлопотал старший сын, а дома — двоюродный брат Константин, сын бабаки Сани. Николай объяснил командиру части, что дома остались малолетние сёстры, и тот обещал помочь ему. А Константин обратился к депутату Верховного Совета СССР Сивухиной Ольге Васильевне. Всё это сыграло свою роль, и дело Колосовой Марии Васильевны было пересмотрено. Её освободили как вдову погибшего советского солдата и мать двух его несовершеннолетних детей. А кума отсидела свой срок сполна.

Стоял тёплый солнечный день, когда бабака Маша вернулась. Она спускалась с горы к реке, и кто-то её увидел.

¹ Оброк — обет, обещание.

Этот кто-то прибежал к дому моей мамы и закричал:

— Девчонки! Девчонки! Мамка ваша идёт! Отпустили её! Там у реки она! Только что с горы спустилась!

Бабака Саня с девчатами была у колодца. Они для чего-то набирали воду. Возможно, в баню носили или набирали в бочку для вечернего полива огорода. Побросали девчонки вёдра и опрометью бросились навстречу своей матери. И она, увидев их, кинула свой узелок и побежала, раскинув руки, к ним.

Подбежав к дочерям, она упала на колени, и они, крепко-крепко обнявшись, все трое плакали. Даже не плакали, а рыдали навзрыд. Минут десять простояли они в такой позе.

Мать гладила своих дочерей да сквозь слёзы приговаривала:

— Доченьки мои милые! Как же вы тут выжили без меня?! Радость-то какая! Да благодарю я Тебя, Господи! За всё благодарю!

А дочери только всхлипывали да кричали сквозь слёзы:

— Мамка! Мамака! Мамочка наша! Ты вернулась! Вернулась, мамочка!

Потом они поднялись и пошли домой, где у ворот их уже ждала бабака Саня с иконой в руках. Бабака Маша встала перед ней, как перед родной матерью, на колени. Бабака Саня благословила её, а потом и сама, уже не сдерживая слёз, тоже опустилась на колени. Они обнялись уже вчетвером, и повторилась сцена, похожая на ту, которая была у реки.

Наутро, когда все страсти и слёзы по поводу раннего возвращения бабаки Маши понемногу улеглись, бабака Саня после утренних молитв и завтрака напомнила девчонкам о том самом obroке и объявила, что в ближайшее воскресенье они до ранней зорьки отправятся пешком в Заплавное — Бога благодарить.

Так и случилось. В воскресенье задолго до рассвета они вышли из дома и пошли в Заплавное. Шли они долго, очень устали, но пришли как раз к началу службы. Поисповедовавшись, причастившись, отстояв благодарственный молебен Господу, они отправились в обратный путь всё так же пешком.

По дороге их обгоняли подводы, брички, рыдванки, а иногда даже машины. Люди, видя, как ковыляют четверо усталых путников, среди которых была старуха и двое детей, сами останавливались и предлагали довезти их. Но бабака Саня, кланяясь им в пояс, вежливо отказывалась. Иногда дети просили её не отказываться и принять предложение добрых людей.

Тогда бабака Саня всегда строго, но с любовью говорила им:

— Терпите, девчонки! За ради Господа терпите. Ведь Он услышал ваши молитвы — освободил вашу маману. А мы вот так отблагодарим Его: потерпим, потрудимся — и отблагодарим! — Так незаметно и дошли они до дома.

Пенсий раньше никаких не было, да и работали за трудодни. Потом, правда, перешли на деньги и пенсии начали платить. Но какая там была колхозная пенсия?! Так, пшик один! Двенадцать рублей! И те-то стали выплачивать с шестьдесят четвёртого года, хотя горожанам пенсии были предусмотрены с тридцать седьмого года. Это была ещё одна причина, по которой сельчане, особенно молодёжь, и порывались уехать из деревни в город. Только мало кому это удавалось. Для сельских жителей было вновь установлено крепостное право: паспорта всех сельчан хранились в сельсовете, и их просто-напросто не выдавали никому. Вот и сидела молодёжь в деревне, а если кто-то и сбегал, то в лучшем случае их возвращали или сами возвращались, а в худшем случае некоторых даже сажали в тюрьмы.

Вот так и жила деревня: кормила и поила, одевала и обувала город, работала «за палочки», свободы не имела, но при этом стала для города презираемой, отсталой, неотёсанной. А ведь если бы не эта «отсталая» и «неотёсанная» деревня, «передовой» и «гладковитесанный» город вымер бы с голоду. Ну, да ладно — не об этом сейчас речь.

Чтобы как-то выживать и не быть сыну обузой, бабака Саня, когда совсем состарилась и уже не могла работать ни на ферме, ни в поле, устроилась в контору полумойкой. Невелика зарплата полумойки, но после «палочек» за трудодни эти «живые» деньги казались несметным богатством.

Так вот, работала она, стало быть, уборщицей в конторе. В это время в наших краях проводили электричество и телефон. К электричеству в доме бабака Саня быстро привыкла, хотя до самой смерти «вздвухала огонь» в керосинке или фонаре, если по каким-либо причинам ей приходилось ночевать в доме одной. А вот телефон она видела только в конторе, и он для неё был диковинкой. Она несколько раз видела, как председатель, её внучатый племянник Ванька, «прикладывал эту скобку к уху и чё-ит в неё бормотал, ровно калякал с ней». Это так она рассказывала подругам-соседкам о телефоне. В плане осведомлённости о новых достижениях науки и техники, которые прибывали в деревню, современная молодёжь сказала бы о ней, что она «продвинутая бабка».

Весь штат конторы состоял из председателя, счетовода, секретаря и уборщицы. Как-то раз председатель уехал в Богдановку, а секретарь и счетовод тоже были где-то в отлучке, и в конторе осталась одна бабака Саня. Она только что подмела полы и собиралась их мыть, как вдруг зазвонил телефон... Его звонок был настолько резким и громким, что бабака Саня даже подпрыгнула от неожиданности и лёгкого испуга.

Телефон звонил долго и настойчиво. Бабака Саня сначала с опаской посматривала на него, потом пошла в кабинеты секретаря и счетовода, чтобы ещё раз убедиться, что, кроме неё, никого в конторе нет. А телефон между тем всё звонил и звонил. Бабака Саня вышла на крыльцо в надежде увидеть кого-нибудь помоложе и более сведущего в этом диковинном и страшном аппарате с неудобнопроизносимым названием «те-и-ле-и-хвон». Но никого в пределах видимости она не обнаружила. А резкие настойчивые трели всё не прекращались. Тогда бабака Саня набралась храбрости и, вспомнив, как «Ванька прикладывал эту скобку к уху», решила на отважный поступок.

Она медленно подошла к аппарату, несколько секунд постояла в нерешительности, перекрестилась и, наконец, обернув трубку краем своего фартука, осторожно подняла её и приложила к уху.

— Алло! Алло! — услышала она громкий скрипучий голос в трубке и резко отдернула её от уха.

— Алло! Алло! Кто там? — продолжал надрываться голос, который теперь показался бабаке Сане смутно знакомым.

Она крайне осторожно приблизила к себе трубку, но плотно к уху прикладывать её не стала.

— Кто эт здесь?! — строго, но с опаской, медленно растягивая слова, спросила бабака Саня.

— Тётка Сань! Эт ты тама, что ли? — вдруг угадал её этот знакомый голос.

— Я! А ты кто? — всё так же строго продолжала свой допрос бабака Саня.

— А где остальные? Счетовод ещё не приехал, что ли? А Маша ещё в Петровке, что ли? — голос засыпал вопросами опешившую старушку.

Но она быстро собралась и по-прежнему строго ответила:

— А я откуда знаю? Они мне не докладывались, и не в отчёте они у меня. Да ты-то кто?

— Да это я, — ответил голос.

— А кто ты-то? — не унималась бабака Саня.

— Ну, я — Иван Михеич! Ванюшка ваш! — в сердцах закричал голос.

Бабака Саня в растерянности задумалась: верить или не верить.

«Голос-то его, — рассуждала озадаченная старушка, — а вот как он мог залезть в эту скобку? Никак! Значит, не он это, а бесовское наваждение».

И, придя к такому мнению, она решительно сказала в трубку:

— Нет! Никакой ты не Ванька!

— А кто ж я тогда? — в недоумении поинтересовался Иван Михеич.

— Нечистый дух! — безапелляционно констатировала бабака Саня.

И, немного поразмыслив, добавила:

— Тьфу на тебя, окаянный!

И резко положила трубку.

— Ну, тётка Саня, ты и даёшь жару! — озадаченно произнёс на другом конце провода Иван Михеич, но в ответ он услышал только равномерные короткие гудки.

Бабаку Саню на деревне все уважали. Она никогда и ни с кем не ссорилась. И тем более делала всё, чтобы избежать ссор в семье. Её сноха Вера никогда и ни разу никому не сказала ни одного плохого слова о ней.

Бабака Саня всегда так учила мою бабаку Машу:

— А ты, Мань, больше молчи. Меньше говори, а больше слушай да молись. Молчи. Када молчишь-то, больно хорошо. Особливо, када хто ругаться с тобой вздумает. Он пусть ругается, а ты молчи да молись. Када молчишь-то, ох и больно хорошо!

Бабака Саня была не только набожным, добрым и миролюбивым человеком, но ещё и очень ответственным. Незадолго до её смерти, когда ей уже трудно было вставать, бабака Маша каждый день приходила её проведывать.

Как-то в очередной раз бабака Маша пришла к больной, а та ей и говорит:

— Ох, Манька! Беда-то у меня какая!

— Какая? — спросила её бабака Маша.

— Да обещалась я Нинке носки связать. Один-то связала, а второй только наполовину: сил у меня нету. А ну как помру я — не успею довязать?! Грех-то мне какой будет! Ты уж, Христом Богом прошу, довяжи тогда носок-то да ей и отдай. А то вся душа изболелась.

— Да ты что, тётъ?! Конечно же довяжу! Даже и не думай об этом,— ответила ей бабака Маша.

— Ох, спасибо тебе, Манька! На тебя у меня и была вся надежда, — с облегчением сказала бабака Саня и, откинувшись на подушки, закрыла глаза.

Живёт в народе твёрдое убеждение, что умереть на Пасху или в Светлую седмицу — великое благо. Считается, что, пока открыты в храмах Царские врата, открыты и Врата в Царствие Небесное, поэтому все, умершие в это время, минуя Суд над душой и мытарства, сразу попадают в Рай, приветствуя Воскресшего Христа. Но сподобиться такой смерти может не каждый, а только те, кто своею жизнью заслужил это, либо те, за кого на том или на этом свете просил Господа сильный молитвенник.

Бабака Саня втайне мечтала умереть на Пасху или Светлую Седмицу, но вслух всегда говорила так:

— Нет! Рази я достойная на Пасху умереть? Нет! Грешница я! На Пасху только достойные люди умирают, а я грешница.

На второй день Пасхи в Светлый Понедельник умерла она. Христос Воскресе, бабака Саня! Христос Воскресе!